

Над прозой жизни

Антон Антонов-Овсеенко

Повесть о Матильде и Ларисе

Матильда

Мой папа был очень добрым человеком. Однажды пришел домой без кальсон: днем, в общественной уборной, он снял их с себя и отдал нуждающемуся. Мы сами бедствовали, ничего лишнего в доме не было, но папа с этим не считался.

Леонард Фишман, так звали моего отца, дружил с писателем Антоном Чеховым. До революции на здании городской больницы в Ялте можно было увидеть мраморную доску: «Эта больница построена на средства А. П. Чехова и Л. Г. Фишмана».

Откуда у папы появились деньги для столь щедрого дара? В 1913 году мама получила наследство из Польши. В газете «Русское слово» появилось объявление Иностранной юридической коллегии: «Разыскивается Вирвиховская Агнесса Иоганновна». Мама получила драгоценности, много серебряной посуды и значительную сумму денег в золотых рублях. Вот эти деньги папа и отдал на строительство больницы, вместе с Чеховым. Но памятная доска на фасаде здания смущала его, и после захвата власти в Крыму папа приказал красноармейцам сбить эту доску.

Папа не получил высшего образования, но писал красиво.

С ним был дружен Анатолий Дуров. Когда знаменитый клоун приезжал с цирком в Ялту, он останавливался у нас. Антоша, мой младший брат, нашел на помойке брошенную флейту. Он был очень музыкален. Дуров подарил пятнадцатому музыканту настоящую скрипку. Антоша спал с ней, клал рядом на подушку. Играли он научился сам, позднее его взяли в оркестр. Мы с мамой, бывало, стоим за оградой городского сада, где играл оркестр, видим, как господа вызывают Антошу на «бис», кидают на сцену деньги. Антоша отдавал все деньги дирижеру. Когда подходило время платить за квартиру, мама говорила, что нужны деньги. Антоша шел к дирижеру, брал необходимую сумму и приносил маме. Он получал большое по тем временам жалование. Мы все любили славного Антошу, только жизнь ему была суждена короткая.

Когда красногвардейцы штурмовали в Ялте дворец графа Мордвинова, к зданию никак нельзя было подступиться. Белые точным огнем уничтожали всех, кто пытался подобраться к стенам дворца. Папа послал туда Антошу. Он дал ему два ремня: «Вот, обвязься вокруг этого ствола, заберись на дерево повыше и бей из «люиса» (был такой пулемет ручной, иностранной марки) по огневым точкам. Только зря патроны не расходуй, дисков больше нет и не будет».

Партию этих пулеметов привез из Севастополя Василий Андреевич Игнатенко, первый председатель горисполкома. Дисков было мало, всего по семь штук на пулемет.

...Папа стоит внизу, а Антоша выбивает одно гнездо, второе... Папа кричит: «Сынок, еще два гнезда. Бей белогвардейскую сволочь!»

Наконец Антоша стал спускаться. Еще не коснулся земли, повернулся к отцу и упал замертво. Пуля попала ему прямо в сердце. Но он не признан героем, наш Антон, его имени нет на Холме Славы. Я назвала его именем своего единственного сына.

После гибели Антоши отец взял мамину черную трость с золотым набалдашником. Трость украшала фигурка

распятого Христа из литого золота. Эта трость досталась маме в наследство от бабки и прабабки. Папа взял трость, вышел на балкон и выбросил ее в сад: «Все. С Богом покончено».

Мама сказала: «Леонард, ты окончательный идиот. На эту вещь можно было содержать всю семью. Но ведь ты выбросил не просто дорогую вещь, ты выбросил из дома Бога. Покарает нас Бог, не будет счастья — ни для тебя, ни для наших детей. Ты сам дал Антоше оружие в руки и послал на убой...»

У меня было четыре брата. В четырнадцатом году папа привел с улицы подростка, еврея из Риги, по фамилии Каплан. У него умерла бабушка, последняя родственница. Макс скитался по южным городам, добрался до Ялты.

— Ага (мою маму звали Агнессой), вот вам сын, — заявил отец.

Тогда уже трех его сыновей взяли в армию, только Рудольфа не призывали еще.

— Теперь у нас будет два сына, Рудольф и Максик, — добавил отец.

— Боже мой, пойди, приведи еще с улицы максиков...

— Если найдутся такие, как Макс, я приведу. На один половник воды нальешь больше в кастрюлю, суп получится пожиже, но Максик будет жить с нами.

А было у нас так: как папа говорил, так он и делал. У нас целыми днями торчали красногвардейцы, солдаты, ели-пили, и, извините, писали мимо унитаза и делали такие вещи, что мама чуть с ума не сошла... Она выросла в Кракове, получила европейское образование, и вдруг такое...

Максик вырос, он красивенький был, не такой, как мои родные братья. Он пел хорошо, а играл на любом инструменте, от скрипки до гармошки. В восемнадцатом году папа взял его вместе с сыновьями, дал всем по винтовке. В Нижней Массандре шли сильные бои. Максик тоже участвовал в боях, ему оторвало ногу. Мы уже все полюбили его, как родного, и вот оторвало ему гранатой ногу. Старший брат разорвал рубаху — тогда бинтов не было, — скрутил жгут. Отвинтил от винтовки тесак, отрубил мясо, которое мешало, отбросил ногу и на руках отнес Макса в госпиталь, где работала мама. Она упала в обморок...

Мы сдали Ялту, эвакуировались. Максик вместе со всеми ранеными лежал на палубе судна. Надо было видеть, как мама ухаживала за ранеными, она прихватила все необходимое, ничего не забыла: матрацы, кастрюли, утки... От Макса она не отходила. Довезли мы его до Новороссийска; не высадились: город занимали белые. Куда теперь? В Керчь. В Керчь прибыли, куда дальше? Только в каменоломни, больше некуда; опять белые подошли. Спрятали раненых в отвале. Макс поправлялся. Был там доктор Левандовский, хороший человек, он приделал к ноге Макса деревяшку, сунул туда культь, — она к тому времени зажила, — дал ему два костиля.

...В Крыму установилась советская власть, и папа назначил Макса начальником Ливадийских винных подвалов. Однажды Макс пришел домой: «Отец, что делать? Смотри... Вот это все — записки от Дмитрия Ильича: «Выдать столько-то ящиков вина», «Выдать...», «Выдать...».

Дмитрий Ульянов ведал курортами Крыма. В этой должности он пристрастился к вину. Но об этом никто не знает, об этом нельзя рассказывать. Я была тогда еще совсем юной. Помню, отец недоумевал: «Как же можно... Родной брат Ленин-

на...» А отец знал Ленина, встречался с ним в Берне, в Люцерне. Отец привозил из Швейцарии всякие мелочи: моим братьям — запонки, брелочки, а мне привез большой кошелек, Кота в сапогах...

Дмитрия Ильича из Крыма убрали, товарищи осудили его поведение на партийном собрании. Юрий Гавен — он возглавлял тогда правительство Крыма — снял его с должности.

Вскоре мы проводили Максика на Кавказ. Там он пробыл недолго, его исключили из партии за то, что он якобы потерял ногу не в бою, а под трамваем. Макс приехал в Москву. У него там никого нет, кроме меня. Я работаю начальником ЦЕБРИС на первом этаже здания гостиницы «Метрополь», в моем ведении специальные железнодорожные кассы, бронь ЦК партии. Слыши, мой помощник ругается с кем-то, выхожу... Макс! Мы кинулись друг к другу, целуемся, обнимаемся, рыдаем. Потом я говорю своему церберу:

— Сколько раз я просила — пускать ко мне всех!

До меня здесь работал начальник, тот никого к себе не пускал, вот цербер и привык всех гонять.

Макса я накормила, напоила. Сели в такси, поехали прямо в ЦК, тогда можно было просто по партбилету пройти в ЦК партии. Я туда ворвалась, собрала всех товарищеск, кто знал меня, помнил отца. Через несколько дней Макса восстановили в партии. Я уговаривала его:

— Оставайся здесь, никуда не надо ехать.

— Я же начальник Сахаросбыта, не могу бросить работу.

Кому-то он там, на Кавказе, помешал, решили от него избавиться.

Макс уехал к себе. Забрали Макса раньше, чем меня, в тридцать шестом. И расстреляли.

...Бедная мама, она как будто предвидела все, что с нами случится. Она очень любила папу, но не могла его понять. В семнадцатом она говорила ему: «С кем ты связал свою судьбу? Это же бандиты, хулиганы...»

Они ворвались в магазинчик Беркенгофа «Санитария и гигиена». Чем там торговали? Шапочками, косынками резиновыми для плавания, мылом, мочалками, порошком от клопов... Они ворвались в магазин и все разгромили, растащили. Беркенгоф, старый коммунист, стал потом народным комиссаром здравоохранения Крыма. Расстреляли его в тридцать седьмом.

Отец участвовал в вооруженном восстании, командовал отрядом, а мама урезонивала его: «Ну что тебе сделали эти князья? Зачем ты кровь проливаешь? Тебя же все прогонят будут...»

После революции Украину охватил страшный голод. Отец собрал все, что осталось от наследства, полученного мамой — бриллианты, кольца, серебро, — сверх того взял все ценное, найденное в доме.

Мама молчала, молчала, не вытерпела:

— Эти ценности твои? Ты их наживал?! Леонард, ты вступил в банду грабителей. Ты думаешь, что вместе со своей бандой принесешь народу счастье?

...Отец снял с моих руки единственное кольцо, подарок Антона.

— Неужели ты, дочь революционера, будешь ходить в кольцах, когда кругом умирают от голода дети?

— Леонард, опомнись! — вступилась мама. — Ведь от всего этого останется пшик. Матильда девочка, ей понадобится приданое. Оставь хоть что-нибудь...

Но отец был неумолим. В восемнадцатом году он возглавлял ялтинский ревтрибунал. Ему довелось судить графиню Толстую — за сокрытие ценностей. Ей дали десять лет.

После многих мытарств мы перебрались в Мелитополь. В городе свирепствовал тиф, папа взял в дом одиннадцать больных красноармейцев. Он хотел их спасти, заразился и умер. Хоронили его в день Парижской коммуны, 18 марта 1920 года.

К Мелитополю подступала белая армия, пришлось эвакуироваться в Харьков. Я участвовала, как боец Части особого назначения (ЧОН), в арьергардных боях, меня ранили в правую ногу. В Харькове, в конце марта 1920 года, вступила в партию. Вскоре белые оставили Крым, была образована Крымская автономная республика, и в конце 1921 года мы решили вернуться в Ялту. В Симферополе я зашла к Юрию Петровичу Гавену, председателю Крымского ЦИКа. Он хорошо знал моего отца, встречался с ним у Ленина, еще до революции. Одним из секретарей партийного комитета была Землячка, Розалия Соломоновна Землячка. Она кичилась своим большим партстажем, умела подлаживаться к руководящим товарищам, зато с младшими обходилась круто и высокомерно, кричала на подчиненных, громко стучала по столу кулаком. И вот я у нее.

— Кто тебе дал такое право — являться сюда? — набросилась на меня Землячка.

— Товарищ Гавен.

— Для меня он не авторитет!

...Не знаю, что сделала бы со мной эта вздорная баба, если бы не Макар Дерябин, старый каторжанин. Он весьма кстати появился в кабинете:

— Послушай, это же наш боевой товарищ, Мотылек. Ее отец погиб недавно, и братья лежат в крымской земле...

Мы все же вернулись в Ялту, я получила назначение в санаторий «Золотой пляж», работала директором до 1927 года.

Однажды пришла домой сестра, она видела в приемной горсовета женщину с бриллиантовыми серьгами, которые отец сдал в ЧК. Разыскали эту женщину, местную кокотку. Дома у нее нашли мамину вещи. Каким образом ценности попали к этой дамочке, я уж не помню.

Председатель ЧК спросил маму, как она думает распорядиться своим богатством. «Все надо немедленно передать в фонд помощи голодающим», — ответила она. — Я должна выполнить волю покойного мужа».

Служба

В 30-е годы, до самой войны, я заведовала Центральными производственными мастерскими (ЦПМ) Союзтранспроекта. Мы входили в систему НКПС, подчинялись Лазарю Кагановичу. В моих мастерских были и типография, и цинкография, и светокопия, фотоцех, переплетный цех; более двухсот рабочих и служащих. Москва, Киев, Иркутск, Владивосток — многие города — оформляли секретные чертежи у меня. Люди у нас работали «под сеткой», то есть допущенные к секретной работе. Двери закрывались пломбой, тут же — военизированная охрана. На ночь все помещения опечатывали, я даже вентиляционную трубу закрывала на пломбу. Завела себе собаку-крысолюва, выпросила ее в Большом театре. За все время я только один раз была в кино и один раз — в театре, и то меня оттуда вызвали, понадобилось мое присутствие на службе. В театре я сидела рядом с Малиновской, директором. Смотрю, а у самой рампы торчат чьи-то уши, острые такие... Я подумала — это собачка и спрашивала директора: откуда здесь собаки?

— Вы что, плохо видите? Это же крысы. Они очень музыкальны, и как только начинается представление, сбегаются со всех домов к нам послушать музыку...

Я решила, что директор либо тронулась, либо считает меня дурочкой. Но Малиновская не шутила, она показала

мне даже собак-крысоловов, их специально держали в театре. Тогда я решила и у себя завести такую собачку. Ведь крысы могли повредить проекты и материалы.

Разные были секретные проекты, помню и трассу Ухта—Печора... Но самый секретный был титул № 100, он так и назывался: «Сотый титул». Об этом титуле я никому ничего не скажу. Меня когда в Лефортово били, я им тоже не сказала. Они удивились:

— Ты же нам обязана, мы же тобой руководили!

А я отвечала:

— Ну и что? Я вам все равно ничего не скажу. Может быть меня расстрелят.

И не сказала. И сейчас никому не скажу.

Арестовали меня поздно вечером 23 июня 1941 года, на второй день войны. Пришли, предъявили ордер на арест, забрали ключи от сейфа... Я внимательно проверила ордер, а он датирован чуть ли не 1936 годом! Я им говорю: «Этот ордер недействителен, я с вами не пойду. Я вооружена, у меня в кобуре револьвер вальтер». Старший на минуту вышел и тут же вернулся со свежим ордером, датированным этим числом. Как будто у них за дверью своя канцелярия... Тут подъехал мой шофер, но они его прогнали, посадили меня в свою машину. Повезли домой. Мама встречает: «Доченька, ты с гостями! Сейчас ужин подам на стол». А они говорят: «Мы не в гости пришли, а с обыском».

Мама смотрит на меня, я говорю ей:

— Мама, поверь мне, я как папа, я честная, ничего вредного не делала, не замышляла. Только верь мне, я такая, как папа.

Начался обыск. Увидели на шее у мамы черную ветровочку из сутажа, сорвали с шеи. Сутаж привязан к мешочку.

— Что это?

— Это моя реликвия,— отвечает мама. Они раскрыли мешочек, там лежит папин партбилет и клок волос. Когда отец лежал в гробу, мама отрезала прядь волос и взяла партбилет, который кто-то положил ему под голову.

Агент раскрыл партбилет, на нем стоял номер 14.

— Кто тебе дал право носить партбилет?!

Когда папа работал первым секретарем Мелитопольского горкома партии, мама его постоянно колола:

— Ну, сколько ты сегодня принял в партию?

Папа отвечал:

— Да, вот сегодня принял одного, настоящего рабочего, сапожника.

— И что, он будет править государством?

— Да, будет управлять государством.

— Такое государство не будет стоить и ломаного грона.

— Как ты можешь это говорить? Ты выросла в богатой семье, ты не понимаешь, что и сапожник и кухарка способны управлять государством. И будут управлять!

— Майн Готт! Если уж кухарки будут управлять государством, то в этой стране должны жить не люди, а свиньи, хамы, плебеи...

Лазарь Каганович

В 1920 году мой отец принимал Лазаря Кагановича в партию, в Мелитополе. Однажды я на службе провеरяю своих людей — не делают ли «левых» заказов. Наше предприятие работало на хозрасчете, я заботилась о доходах. Чем выше доходы, тем больше директорский фонд. Я могла маневрировать своим фондом, доставать материалы, помогать своим рабочим.

...Вижу на столе, за решеткой, лежат какие-то фотографии. Открываю дверь, спрашиваю: «Товарищ Червяков, а это что?»

— Это секретарь наркома принес.

— А почему вы приняли? Где заказ?

— Он принес без заказа.

— Товарищ Червяков, вы самый честный работник, самый дисциплинированный. Почему же вы приняли заказ без оформления? Наплевать мне на то, что это от Кагановича. Он десять раз может заплатить, он богатый человек...

— Как же быть? Он просил сделать ему альбом в красном сафьяне.

— Нет, дорогой. Ни одного дециметра не дам. И не потому, что я с таким трудом достала сафьян, если нужно, я дам его правительству.

...Разглядываю фотографии, вижу — Мелитополь, портреты молодого Лазаря, читаю краткую биографию: ...член ВКП(б) с 1911 года. Я не выдержала:

— Товарищ Червяков, оказывается, и наркомы негодяи! Мой папа принимал его в партию в Мелитополе в 1920 году. Меня тоже в 1920 году принимали, билет выдавал Захаров, а Лазарю — лично мой папа.

Конечно же, кто-нибудь донес на меня, в этом я теперь не сомневаюсь, но тогда я была еще другой, я смотрела на людей и на Органы иными глазами... Дала я нагоняй охране. Я была с ними на дружеской ноге:

— Друзья мои, зачем же вы пропустили в мастерскую посторонних людей?

— Но ведь пришел из наркомата...

— Да хоть из самого НКВД! Без меня, без моего ведома никого пускать в цеха нельзя.

Лубянка

В первую ночь меня на Лубянке посадили в подвал. Одну. Было совершенно темно, но скоро глаза адаптировались, я стала рассматривать стены камеры. Странные они были, эти стены, в пятнах маленьких... Нет, это не пятна, а шарики красные, блестящие. Потрогала один шарик — кровь застывшая... А на стене — следы шомполов, риски такие, это когда шомпол срывается со спины. Я раздавила один шарик — на пальце остался след запекшейся крови. Высоко под потолком — тусклая лампочка, в углу — деревянное ведро.

Все это устроено там, около площади Дзержинского, где установлен памятник нашему первому чекисту, железному Феликсу. Над головой дребезжит трамвай, тогда они здесь еще ходили.

Женщин обрабатывала женщина-палач. Она заходила в пыточную камеру, здоровенная такая высокая баба в синем халате, и приказывала: «Нагинайсь! Погиб: «Шире ноги расставляй!».

К бабе-громиле в синем фартуке меня водили всякий раз перед допросом. Сидишь перед следователем, руки на коленях, не смеешь пошевелиться. А следователь — он знает, как над тобой надругались, он-то знает — покрывает: «Чего ерзаешь, курва!»

Весь вечер, с пяти часов сидишь вот так, руки на коленях, перед следователем, у тебя внутри, там, горит все огнем, а ты не смеешь встать, попросить воды, ты сидишь весь вечер, до поздней ночи сидишь, а то и до утра.

Он развалился в кресле, молодой следователь, в петлице один кубик, значит, младший лейтенант, и покрывает: «Какого х... ерзаешь, ... твою мать!»

Я этих следователей называла «будильниками». Они не давали спать, сволочи. С июля до декабря, до Нового года, они не давали мне спать, до утра держали на допросах. Я сижу перед ним на своей арестантской табуретке, а он: «Чего качаешься, курва! А ну, встать! Выравняйся! Так и стой, б...!» Потом разрешит сесть, у меня голова клонится книзу, шея уже не держит, он опять кричит...

Ему становится скучно, он набирает номер телефона: «Олењка, поставь любимую». Он слушает «Брызги шампанского», танго. Отвечает Олењке: «Да, скоро, подожди немногого... Да тут одну суху, фашистку, допрашиваю... Да, да, что-то подтверждает, но тынят, тынят, стерва... Хорошо, хорошо, что тебе надо? Языков? Почему так много? А... Я забыл, что у тебя день рождения. Хорошо, я с шофером пришлю. С этой мандавошкой расправлюсь и пришлю. И вырезки возьму...»

Приходит смена, другой следователь, тоже молодой.

— Ну, как у тебя?

— Молчит.

— Молчит? Сейчас я с ней, б...ю, расправлюсь...

Первый уходит, второй располагается в кресле, на-жимает на кнопку. В тот момент входит верзила, форма охранника чуть не лопается по швам. Следователь выпивает свои «двести», нет, оставляет на дне стакана немногого, подходит ко мне. Выплескивает остатки мне в лицо.

— Что вы делаете?!

— Долго ты будешь нам тут яйца морочить?!

А ну, говори!

— Что, что говорить? Скажите, что я должна говорить?

— Как ты хотела Гитлеру передать чертежи.

— Какие чертежи?

— Те, что у тебя были. Секретные.

— Вы что, с ума сошли? Я же коммунистка! Если вы хоть на маковое зерно докажете, что я кому-то сказала, скальпируйте меня. У меня папа старый коммунист, мои братья все коммунисты, мой сын, тоже коммунист, добровольцем ушел на фронт... Я даже не знаю, о каком Гитлере вы говорите... Я ведь не читаю газет, я прихожу домой в три-четыре часа утром, мне спать некогда...

Он меня матом, матом и кулак под нос... А внутри все горит, боль невыносимая... Меня мама с детства приучила — каждый вечер перед сном мыться теплой водой, губкой, у нас в семье все были чистоплотны... И такой яд, такую грязь занесла мне та баба-палач...

А следователь вновь кроет матом: «Я тебя вы... и сущить повешу!»

Порой я думала — может, я сошла с ума? Может, это мне снится?

Как-то я сказала следователю, что мой сын Антоша сражается с врагами, а вы его мать пытаете... Следователь встрепенулся:

— Что, Антон Фишман? Мы его расстреляли. На самой границе схватили, он хотел к немцам перебежать. Вишь, какая б..., весь в мать пошел...

Кети Раб

Чешка Кети Раб была коммунисткой, ее обвиняли в шпионаже.

Как-то я пришла в свою камеру, после допроса, а у меня женщина. Она стонет, просит воды. Кран у нас в камере был, я налила в ладони, подношу к ее губам, а она не пьет. Подняла ее платье, спина вся иссечена, вдоль и поперек. Я вылила воду на это кровавое месиво.

— Меня зовут Кети Раб. Я чешская коммунистка, меня знают на заводе «Батя». Если вы доживете, передайте им, что меня казнили на Лубянке, заставили подписать себе самой смертный приговор, принудили признаться в том, что я шпионка. А я не шпионка, я коммунистка!

— Зачем же вы подписали?

— Я не могла больше выдержать нечеловеческие пытки...

Меня потом мой следователь спрашивал: «Ну как твоя подружка-шпионка?»

— Какая подружка-шпионка?

— Ну та, которая просила тебя написать в Чехословакию, на завод «Батя»?

— Не знаю, кто такой батя, о каком бате вы говорите, чей батя?

Словом, прикинулась дурочкой... На всякий случай я еще приврала — будто немецкому языку не обучалась и читать-писать по-немецки не умею. По-чешски — тем более... Вот по-татарски я могу, гражданин следователь. Еще я петь могу, танцевать, а в остальном неграмотная я, по-русски я плохо грамотная, а вы говорите, чтобы я написала ее бате...

Через несколько дней Кети исчезла.

Однажды следователь задержал меня дольше обычного, время близилось к обеду. Мы, арестанты, уже знали, что казни устраивали здесь, во внутреннем дворе. Включают мотоцикл и расстреливают. Как ни маскируй, арестантское ухо уловит звук выстрела.

Следователь спросил:

— Ну, где твоя подружка?..

— Какая подружка?

— Кети, Кети Раб.

— Вы ж ее забрали вчера...

— Хочешь на нее посмотреть? — и он повел меня на нижний этаж, втолкнул в кабинет, приказал подойти к окну. Я повернулась к нему лицом, разорвала кофту на груди:

— На, стреляй прямо, стреляй! Не в спину, а прямо, в сердце. На, сволочь! — И попятилась от него, спиной к окну...

— Повернись, повернись, не бойся, сейчас стрелять тебя не буду, видишь, у меня и оружия нет с собой. Повернись, загляни во двор.

Я повернулась и увидела во дворе, внизу, на асфальте Кети. Бедная Кети лежала мертвая, со связанными сзади руками, она лежала на спине, колени подогнуты, видно, ее перед казнью поставили на колени и выстрелили в затылок. По середине маленького двора виднелся глубокий желоб, он вел к отверстию в асфальте, туда стекала кровь казненных. Это место закрывали с четырех сторон высокие каменные стены.

— Ну, насмотрелась? То же самое будет с тобой. Если не дашь нам показаний.

В Лефортове

Тюремный корпус в Лефортове не имел коридоров. Тебя вели вдоль камер по металлическим мосткам, напротив — такие же мостики, между ними — железные сетки. Однажды ведут меня конвоир по мосткам из следственного корпуса, смотрю, на моем этаже — почти все камеры открыты, они пусты, а на кроватях висят гимнастерки военные, на петлицах следы знаков различия, «шпал», «кубиков», «ромбов»... Я иду мимо, а нижний охранник кричит верхнему:

— Кузнецов! (Я запомнила эту фамилию, у нас посуда была фирмы Кузнецова.) Кузнецов! Ты почему вещи не сдаешь на склад?

Наш тюремщик почему-то не слышит. Нижний кричит настойчивей: «Степка, ты почему не сдал вещи?»

Степан Кузнецов наконец услышал:

— Вот выберут еще девять, тогда разом и сдам все.

— Ну и х... с тобой, — откликнулся нижний.

Значит, как остальных расстреляют, он отнесет все вещи...

Тюремщики в Лефортове били по пряжке ключом. В Бутырской тюрьме щелкали языкком, на Лубянке щелкали пальцами. Это сигнал — «Веду арестованного, он не должен никого видеть».

Однажды на Лубянке меня вели по коридору, щелкали пальцами, но моих конвоиров не слышали. У стены

стоял привязанный человек, руки прихвачены кольцами, штаны спущены до пят, и двое бьют его шомполами по голой спине, только кровь брызжет. Как он кричал, как он кричал... Меня привели на второй этаж, на заседание «тройки», где я должна была выслушать приговор. Там были три человека в штатском, все старые уже. Спросили фамилию.

— Вы что, не знаете, что я Фишман?

— Мы вас спрашиваем, а вы отвечайте. Ну, что вы нам скажете?

— Я скажу то, что вы знаете. Я совершенно невиновный человек, была честной комсомолкой, честной коммунисткой...

Это происходило в круглом кабинете, он и сейчас стоит перед глазами, этот «суд». И тот мужчина в коридоре... Как они его били, он кричал, кровь струйками стекала по спине. Один был с оттяжкой, со свистом. Мой конвоир ударили меня по лицу: «Куда смотришь, сука!»

Этап из Москвы в Саратов Январь 1942 года

Нас посадили в грузовую машину, трехтонный грузовик-коробку. В этой коробке — еще пятнадцать коробок, вроде металлических пеналов, в них можно было только стоять, и мы стояли. Привезли нас на Курский вокзал ночью. Мороз был страшный. Мы все — в летней одежде или полураздетые, голодные, истощенные...

Конвой запер нас и ушел. Сначала я слышала — справа, слева, сзади люди ворочались, черты хались, молили, плакали, стонали. Потом все стихло. Я была в легкой кофточке и старалась дышать под матерью, согреть хоть чуть-чуть тело своим дыханием. А пальцы рук прятала под мышками.

Слышу сзади голос: «Женщины в машине есть?» Я промолчала, я берегла силы, берегла каждый выдох. Мужчина повторил вопрос. Потом крикнул: «Слышите, есть кто-нибудь? Я отморозил яйца, я не могу больше. Убейте меня! Убейте меня! Я не могу больше!..»

Голос стих. Это был воспитанный человек.

Утром послышались возле машины голоса охранников.

— Ну и мороз, 45 градусов...

— Х... с ним!..

Загремели засовы. Я услышала бодрую команду: «Выходи!»

Никто не вышел. Густой мат, лязг запоров... Охранники открывали по очереди кабинки, в которых привезли арестантов. Они и сейчас там стояли. Но — мертвые.

— Гляди, померзли все, суки...

Охранники начали выбрасывать трупы по одному на землю.

Открывают мой стоячий гроб...

— Во, есть одна живая...

Вытащили меня. А я ни стоять, ни ходить не мог. Моча самопроизвольно вышла, ноги скованы льдом. Охранник ударил меня сильно в спину, что-то оторвалось между ног, лед слетел, и я сделала один шаг, не упала. Еще один человек оказался жив, а может, и не совсем жив, мне разглядеть не пришлося. Кто-то взял меня за руки, потащил. Я сказала, что не могу идти. «А что, я тебя поведу, что ли?»

Меня подхватили под руки и потащили волоком по земле, по асфальту... Когда через рельсы перетаскивали, ноги бились о холодную сталь, щебенка рвала кожу... Не забыть эту боль. За мной тащили еще одного дядю. Тринадцать осталось там. Тринадцать из пятнадцати.

Я оглянулась на машину, ее освещали станционные прожектора, свет выхватил жирную надпись на кузове: «Мясо». Так выглядел наш черный ворон.

Приволокли к поезду. Длинный состав на дальнем запасном пути. Наш вагон — четырехосная коробка. Открыли дверь: «Принимай!»

А я же не могу шагу ступить, не могу ногу поднять... Взяли меня конвоиры за ноги, за руки, раскачали и забросили в вагон. В вагоне стоит толпа, человек к человеку вплотную. Ни нар, ни скамеек, ни досочки. На полу — конский навоз, раньше в этом вагоне перевозили лошадей. Окошки вверху открыты, забраны стальной решеткой. В стенах щели, в полу тоже. Отопления никакого.

Мы стоим, как холдец. Как живой холдец. Стали на меня дышать женщины, которые очутились рядом, они же видят, что я заледенела. Особенно заботилась обо мне цыганка, ее звали Шурой. Окрутила меня своей широкой юбкой и покрикивает: «Топай ножками, топай ножками!»

А я и стоять не могу... какой там «топай»... Шура нагнулась, руками сбила лед с моих ног, с юбки. «Теперь давай танцевать, вместе, вместе...»

Там были еще цыганки, три мамки с младенцами. Когда поезд наконец тронулся с места, мы обрадовались. Скоро будем на месте и тогда... А что тогда?.. Но арестант есть арестант, ему всегда кажется, что хуже, чем теперь, уже быть не может, значит, будет лучше.

Двадцать два дня ехали мы до места, до Саратова. Пассажирский поезд туда идет один день. А ехали двадцать два. Еда? По куску селедки в день и по три сухаря. Питье? Никакого питья, ни капли воды. Первыми умерли младенцы. Матери набирали через силу слюны во рту и плевали в детские ротики. Младенцы кричали, тянулись к пустым грудям... Охранники выкинули детские трупики в снег. На каждой станции женщины кричали, просили воды. Уж на что голостая была одна женщина, привезенная из Новинской женской тюрьмы, но и она потеряла силы... Мертвыми телами мы закрывали щели в стенах. Когда конвой открывал вагон, трупы падали на охранников, и они страшно ругались, били нас. Всякий раз при раздаче «пиши» возле вагона складывали штабеля трупов. Одну мертвую мы не выбрасывали, то была старушка горбатая, мы клали ее на спину и горбом закрывали отверстие в полу, нашу «уборную». На ходу поезда оправляться было невозможно, ветер задувал внутрь, но что мы могли поделать?

Во время длительных стоянок бдительный конвой обходил вагоны с огромными деревянными молотами. Этими молотами колотили по доскам — по полу, по стенкам: все ли целы? Не подпилены ли? Не готовится ли побег? Грохот стоял неописуемый, мы приспособились дремать стоя, но и этот сон стал недозволенной роскошью... Мы ехали стоя, потеряв двадцать два дня и двадцать две ночи. Ноги напоминали раздутые бутылки, зеленые раздутые бутылки. Палец погружался в этот зеленый студень как в тесто, наполовину. Кто этому теперь, спустя сорок лет, поверит...

Но так было.

В Саратове, на станции, открыли вагон. «Выходи!»

Нас выстроили по пять в ряд. Сосчитали. Счищать-то нечего: семь пятерок, вот все, что осталось от двухсот пятидесяти. От двухсот пятидесяти!

Конвоиры переговариваются: «Шо, и це уси? Уси?»

Одна из выживших спросила: «А вы что, не видели? На каждой станции штабеля мертвых составляли... Что мы их съели, что ли?»

— Да, есть их сырьми нельзя... А я бы сварили, то и съели бы... — флегматично ответил конвоир.

Команда: «Становись на колени, руки назад!»

Куда там — «на колени»... ноги ведь не гнутся... Но — встали прямо на снег. Подошли из других вагонов,

еще, еще... Подняли нас, повели строем. По обочине, с обеих сторон — овчарки.

Кончились стационарные пути, с трудом доплелись до шоссейной дороги. Новая команда: «Лягай!»

Все легли — мужчины и женщины. Мужчины почти все были в гимнастерках и пилотках, их, видно, взяли летом. Один красивый, молодой, умоляя конвоира: «Гражданин начальник, убей меня, убей, я весь замерз, я не могу больше, я не хочу жить! Убей!»

Потом он лег на снег, пилотку подложил под лицо.

— Лежим, помираем поодиночке, один за другим.

Голос: «Да ты человек или нет? Дай нам немножко согреться... Постукаться друг о дружку. Мы же леденеем, мы же погибаем. Ты человек или скотина?!»

Наконец команда:

— А ну встать! Всем встать!

Не получается, многие уже не могут встать. Они никогда не встанут. Надо проверить — а вдруг симулируют, проклятые фашисты. Подходит конвоир с собакой, отпускает поводок — овчарка хватает арестантские икры, рвет мясо. Человек лежит. Поводок еще отпущен. Собакакусает ягодицы, вырывает клоки штанов, куски кожи. Нет, человек не шевелится. Конвоир отпускает почти весь поводок — зверь хватает за шею, — нет, не шевелится... Охранник проходит с собакой по рядам.

— Мертвяки е, — замечает он меланхолично.

Тела вытаскивают из строя, бросают в кучу. Мы лежим на снегу, поднять головы не смеем — обещана пулля. Прислушиваемся к каждому шороху. Слышим:

— Во, е... их мать! Вагоны угнали, а тюрьма не принимает...

Молодой конвоир предлагает:

— Да пострелять их к... матери и — все!

— Ты что, о...ел? — это пожилой ответил.

Долго мы еще лежали. Прибыли три машины. За трупами.

Конвоир командует: «Клади на машину!»

Крайний в строю арестант отвечает: «Сам клади. Ты в шубе, в тулупе, в валенках, а я голый, я весь обмороженный, я стоять не могу. Ты меня самого туда забрось».

Начали бросать людей на машины. Некоторые еще смотрели на нас открытыми глазами, может, глаза и мозг — то единственное, что не успело замерзнуть на лютом холода. А на лицах — струйки замерзших слез... Некоторые вздыхали почти беззвучно — их бросали туда же, на мертвцев, как поленья.

Нагрузили машины с верхом, тронулись, тихо едут, и мы идем вслед тихо.

Навстречу машина с хлебом, под военной охраной. Кто-то из заключенных бросился к машине. Солдат остановил его: «Товарищи, это детям хлеб, мы везем его детям, нельзя брать».

Раздалась автоматная очередь, арестант спрятал окровавленные руки за спину. Пошли дальше. В Саратовскую пересыльную тюрьму нас привели глубокой ночью. Завели в коридор. Камеры переполнены. В конце коридора — станковый пулемет. В другом конце — другой. И предупредили: «Кто поднимется, стреляем без предупреждения».

Из камер тихо спрашивают: «Откуда прибыли? Кто вы?..»

Мы были счастливы, мы прижимались друг к другу, мы лежали на деревянном полу, и снизу не дуло. Над нами был настоящий потолок, оттуда тоже не дуло...

Утром охранник объявил:

— Оправка вам будет после, как пройдут все камеры, а сейчас — давай в один конец коридора, да потесней! Кто голову поднимет — расстрел.

Выпустили одну камеру, сороковую. Тут приходит какой-то начальник: «Справа становись русские, посередине — фашисты, слева — все остальные».

Мы переглянулись: кто же мы?.. И вот — цыгане, армяне и я — встали посередине, с фашистами.

Новая команда:

— Фашисты — в сороковую камеру! Живо!

Заходим, а там одни немцы... Обрадовались нам. Но ведь нас не водили на оправку, не дали воды. Подошла я к двери, стучу, кричу:

— Дайте нам воды! Нам совсем не давали в дороге, мы погибаем. Всех водили на оправку, а мы не попали, просим вас, ради Христа...

— Завтра! — крикнул охранник в окошко. И добавил: — Смотри, больше не стучи, а то спустим в подвал...

Я язык к небу прижала — тогда у меня еще свои зубы были — прижала к небу язык и думаю: «Боже, как позабыть о жажде». А мочевой пузырь режет ножами, все воспалено...

Кормили нас в тюрьме баландой, посуды никакой, один разбитый черепок на двадцать человек. Каждый норовит подцепить пальцем хоть зернышко крупяное, пальцем, которым перед этим вытирали то, что обычно вытирают бумагой. Ни воды, ни мыла, ничего...

Лежит возле меня молодая женщина. Спрашиваю: «За что вы сидите?»

— Я мокрушка.

— Что это такое?

— Мы по мокрому делу. А ты, фраерша, не понимаешь ни х... Ну так слушай. Мы жили в маленьком доме, на первом этаже. Пришел мужик с толстым портфелем, попросил у соседки койку — остановиться на время... Соседка отказалась. Тогда он сунулся к нам. Я посмотрела — ничего, подойдет. И согласилась. Поставила перед постояльцем чашку чая, а тут приходит муж, он работал мясником, в коридоре у него висел широкий топор. Муж поздоровался с приезжим и вышел. Вернулся с топором и — сзади, так аккуратно — раскроил ему череп, точно пополам. Потом мы его разрубили на куски, сложили в мешок, отвезли на санках к реке — и в воду, в прорубь. Мы жили на Волге — ищи весной мешок с грузом... Уже купили билеты на поезд, нас на вокзале и забрали. Соседи донесли. Так мы заработали по десятке.

— И это все, что вам дали?

— А сколько бы ты хотела?

— Я вот получила десять лет ни за что. А вы человека убили, и вам десять... Если бы я была у власти, я бы тех, кто убивает, казнила.

— Ах ты б...! Погоди, тебя еще в лагере казнят. Нас знаешь, сколько мокрушников и мокрушниц? Больше, чем вас, фраеров. Ты фраерша, ты не из нашего мира. А за что тебя посадили?

— Ни за что. Так, взяли и посадили.

— А ты что, жидовка?

— Нет, я немка.

— А, фашистка!.. Ну и х... с вами. Скоро все подожнете.

Луиза Лютгенс

Заметила я в камере одну молодую женщину с длинными черными волосами. Она все время прикрывала рот рукой. Звали ее Луизой. Она была женой, вернее вдовой соратника Тельмана, Августа Лютгена, рабочего-революционера.

нера из Гамбурга. Гитлер держал его пять лет в тюрьме, потом казнил.

Луиза стала членом Исполкома Коммунистического Интернационала. На Лубянку ее привезли в начале войны, жестоко пытали, выбили все зубы. Она стыдилась уродства, прятала запавший рот...

Луизе отбили внутренности, она была страшно худа и вечно голодна. Я от баланды отказывалась, не могла есть из одной черепушки со всеми, не могла видеть, как бедные женщины грязными пальцами вылавливали крупинки и делили клещки. Я отдавала Луизе свою баланду и от хлебной пайки отламывала кусок. Я все время спала, может быть, поэтому еще могла обходиться малым. В обед раздавалася грохот, делили вторую баланду, руками пересчитывали клещки, я отказывалась и от этого обеда. Луиза уговаривала меня, но я отдавала ей все. Она благодарила меня по немецки: «Я не забуду это до конца жизни». Она не верила мне, будто я не хочу есть. Она обещала за меня выносить парашу, она готова была боготворить меня... А я приучила себя довольствоваться одним хлебом, пайком в 400 граммов. Сколько меня ни мучили в тюрьмах и на этапе, я была упичтана более других. Ведь мама буквально закармливала меня. «Ешь, ешь, доченька, неизвестно, что еще в этой жизни может приключиться...» Она как в воду смотрела.

Я и на Лубянке не ела баланду, выливала в уборную. Потом объявила голодовку, тридцать дней не принимала пайки. Мне пригрозили, что будут кормить насильно. Я пообещала так дать ногой — вместе с аппаратурой полетят к той стенке... Я могла это сделать, я была сильной, молодой. Конечно, и мои силы могли истощиться, но что-то еще осталось, и я могла жить на маленьком пайке. На воле я была очень полной, руки — как у поросенка задние лапки... Так что я жила в тюрьме за счет собственного жира.

Как она ела, бедная Луиза? Губы синие, разбитые, почти черные, провалились внутрь, она все повторяла: «Стыдно, стыдно...» Я успокаивала ее: «Не мучайтесь, это же они, негодяи, выбили вам зубы». Глаза у нее черные, большие, красивые, ей было около тридцати, она такая привлекательная — даже изуродованная палачами.

Во время оправки уголовницы захватили все места у рукоюников, никто не мог подойти к сосочкам, ни попить, ни руки помыть. Уголовницы занимали верхние нары, они были хозяевами тюрьмы...

Но на одном месте, возле открытого окна никто не ложился, там сильно дуло, зато было свободно. Там я и легла. Я очень хотела спать, меня восемь месяцев пытали бессонницей и на этапе мы не спали три недели...

В лагерь мы прибыли вместе с Луизой. Она все время хотела есть, она только об этом говорила, только об этом думала. Что они с ней сделали там, на Лубянке?

Однажды в лагере объявили набор поваров на дальнюю подкомандировку, на овечью пастбища, в Чуйскую долину. Луиза вызвалась сразу. Охотников туда почти не было, ведь попасть в долину можно было только один раз в год, весной. Я пыталась отговорить ее, но Луиза отвечала: «Пусть я погибну, но я хочу последний раз в жизни поесть досыта, а потом — будь, что будет». Пришло смириться. Главный чабан там был Яша, он меня уважал.

Я попросила его помочь бедной Луизе, просила не давать ее в обиду.

Ее послали к Зеленому озеру, возле станции Чу. Она все повторяла: «Я хочу хоть раз досыта наесться». А чтобы не потерять совсем друг друга, мы договорились посыпать с оказией тряпочки: я передаю старшему чабану для Луизы красный лоскуток, она мне — кусочек мешковины. Это мне весть: она еще жива. Бумаги, карандаша не было и в помине — ни у нее, ни у меня. Это же лагерь.

Яша рассказывал, что Луизе подбрасывали ягнят, которые появлялись у овец по дороге, во время перегона отары. Этих ягнят она выхаживала, растила, потом питала ими. Хлеба там не видели, соли тоже, но Яша завозил ей ячменные зерна, из них можно было что-то печь, только размолот надо было. У Луизы ведь не было ни одного зуба, как она там ела? В лагере с зубами обходились просто: пожалуешься лекпому, мол, зуб болит, так при первом же посещении дантиста выдернут этот зуб и — марш на работу. Протезирование? Это слово, если кто и помнил с воли, здесь забывал.

Минуло три года, война шла к концу. Весной сорок пятого появился в зоне Яша: «Матильда, не привез я тебе ничего от Луизы. Мы нашли ее скелет, она лежала на топчане, в кухне, окна и двери — открыты. На скелете — крысиный помет. Крысы обгладали каждую косточку, даже связки, хрящики все сожрали, остались лишь кочки черных и седых волос (она в тюрьме поседела)». Я спросила Яшу: «Она хоть поправилась немного?»

— Нет, она стала страшная, как привидение. Глаза огромные, черные, волосы побелели. Она была слишком истощена, очень болела, наверное, ей в тюрьме отбили внутренности, ни мясо, ни ячмень ей уже не помогали, может, это питание шло ей во вред... Она жила одна, а кругом — волки, стаи волков... Мы проводывали ее только два раза в год, там же горы, глубокий снег, зима лютая...

Я спросила Яшу: «Вы ее так и оставили, Луизу, не похоронили?»

— Что я мог сделать? Только кости с топчана ссыпать. Ведь крысы ничего не оставили. Да и кто будет долбить могилу, там одни камни... Пришлют нового человека, кости, может, сожрут на костре... Это же не овца. Вот если овца погибнет, на нее составят акт, в двух экземплярах: один — в управление, второй — в ветеринарную часть.

А человек — это всего-навсего человек. Был — и нет его.

...Незадолго до отправки за Зеленое озеро Луиза просила меня, когда я выйду на волю, найти книгу, где рассказано о казни ее мужа Августа Лютгенса. Она не просила разыскать дочерей, разве можно это сделать советской подданной, это же будет — связь с врагами.

В Москве я пошла в библиотеку. В одной книге — она называется «Воспринят род людской» — помещена фотография молодого моряка Августа Лютгенса. За участие в революционном движении он был приговорен к двадцати годам каторги, бежал из Бременской тюрьмы, потом вернулся в Германию. Его схватили в Гамбурге летом 1932 года. Казнили Лютгенса публично, на площади, в присутствии жены и политзаключенных. В последнюю минуту он попросил снять с него кандалы, ему не отказали в предсмертной просьбе. Лютгенс поднял свободные руки, потянулся, соединил кулаки и обрушил их на голову палача. Палач упал замертво. Лютгенса обезглавили. Луиза лишилась чувств. Перед смертью Август успел крикнуть: «Я умираю за пролетарскую революцию! Рот фонт!»

Для вдовы эти слова стали завещанием. А двум дочерям Лютгенс оставил накануне казни письмо: «...Дорогие дети! Когда вы получите это письмо, вашего папы уже не будет... Когда вы подрастете и будете изучать всемирную историю, то поймете, кем был ваш папа, за что он боролся и умер. И вы поймете, почему ваш папа поступил так, а не иначе. Итак, растите борцами. Прощайте!»

Лариса

Лариса. Невмоготу было в лагере первое время. На общих работах никто не выживал. Одна надежда — вырваться за зону, в ВОХРу, прачкой или поварихой. Приедут в Просторное плантаторы — мы их звали купцами — набирать девок. Ходят и смотрят на этот скот, то есть на нас. Кому охота в зоне сидеть на цепи, подыхать от непосильной работы и голода? Каждая старается выглядеть привлекательней. Иная умоляет:

— Гражданин начальник, возьмите меня, я буду все для вас делать, я умею готовить, вязать, я буду ухаживать за вашими детьми... Умоляю, возьмите, возьмите...

Смилостивится купец, заберет.

Я тогда молодая еще была, красивая, меня охотно брали в прачки. Однажды вернулась в свою зону через полгода, меня спрашивают:

— Где работала?

— У начальника в постели затылком наволочки стирала...

Первые пять лет трудно было, а потом перенакомились, приспособились. Там был Мебония, добрый человек, заведующий зерновым складом. Он четвертый раз сидел, много о Сталине знал. Раньше он в правительстве меньшевиков состоял. Ему смертный приговор на врагов принесли, он подписать отказался. Я, говорит, им жизнь не дал, я не имею права у них жизнь отнимать. Не хотел он большевиков стрелять. Хороший, хороший был человек. Он нам мясо даже давал.

Заведующий пекарней был один немец, тоже очень хороший человек. Он нам хлеб пшеничный давал, иногда муки, мы пельмени даже делали... Бывало, крупы ячменной даст, которая для лошадей предназначена, а в середку спрячет мешочек муки. Он не всем давал, это он мне давал, я учетчицей была.

Просторное. Сивков

Матильда. Меня из Долинки привезли в Просторное, на лагпункт, отведенный специально для немцев. Ходить я не могла, бруцеллез поразил суставы, палку держать не могла, даже двумя руками. Наш этап принимало честное начальство. Меня заметил Сивков, начальник санчасти:

— Это что такое?

— Гражданин начальник, не могу ходить...

Доктор Сивков выбил ногой палку, на которую я опиралась. Я упала. Тогда он начал бить меня ногами в живот. Это у нас, заключенных, ноги были обуты в чуни, изготовленные из старых автомобильных покрышек. Вольные начальники ходили в сапогах, в ботинках.

Бросили меня в барак, на нижних нарах места нет, на верхние я залезть не могу. Да и мочусь непрерывно: доктор мне все внутренности отбил. Сколько раз так били. И других женщин били...

Выкинули меня на двор, а уже октябрь стоит, холодно, дожди начались. Под стенкой барака-конюшни сделали мне ложе из камней, чья-то сердобольная рука бросила мне из оконца охапку сена, на подстилку.

Лежала я на виду, и женщины, уходя на работу, били меня ногами. Почему и не бить, если есть существо, еще более несчастное, чем они?.. Приходя с работы, тоже били. И когда шли в столовую за баландой, били. Больше всех старались блатнячки — воровки, мокрушницы, рецидивистки всех мастей. Эти были обуты в ботинки, наравне с вольными начальничками.

Лариса. Я жила на лагпункте в Просторном, работала бригадиром. Пришли мы однажды с работы в зону, видим, — на земле, возле барака лежит женщина. Ей плохо, она постелила под себя какую-то тряпку и лежит прямо на земле, а ее пинают ногами. Для блатных девок — это первое удовольствие. Я знала, что так уже заведено: слабого добывать до смерти. Но все же вступилась:

— Что это вы ее? Что она вам сделала?

— Да она такая-сякая, она троцкистка.

— Я тоже троцкистка.

— Нет, ты не троцкистка, ты наша.

Матильда. ... Мерзла я страшно на камнях, особенно ночами. Одну только ночь я тогда провела в тепле, праздничную ночь под 7 Ноября. День революции наши охранники сделали своим праздником: запирали всех в бараках, устраивали повальный шмон, все отбирали, даже иголки самодельные. Вот и меня втащили в барак. На одну ночь.

Скоро зима началась, там она морозная, снежная, нашлось и мне место в бараке. А к весне я уже ползать начала.

Лариса. ... Рано утром на разводе эту женщину тоже бьют, толкают, она идти не может, а ее все бьют. Вижу такое дело и говорю ей:

— Пойдем.

— Не могу...

— Пойдем, пойдем. Не бойся, сделаем норму за тебя, подкормишься, окрепнешь. Иначе пропадешь.

Ну, сделала я за нее норму, и за себя, конечно, приволокли ее домой. Только вот Сивков, начальник санчасти, уж очень взъелся на эту женщину.

Матильда. Сивков не терпел немцев, хотя сам был женат на немке. Она красиво вышивала, болела только очень и вскоре умерла. Потом подошла очередь Сивкова, он умирал от рака горла. Перед смертью Сивков просил начальника похоронить его так, чтобы зеки не вырыли. Главное — одежду заранее всю порезать, а то ведь выроют и снимут с мертвого. Когда его хоронили, поставили гроб на две скамьи и изрезали голубую рубаху на ленточки. Брюки исполосовали и ботинки.

Его все зеки ненавидели и каждый, кто попадал на кладбище, испражнялся на его могиле.

Лариса решила взять меня на посевную, в другую зону. Ходить я еще не могла, она настояла.

Потащили меня. Терехов увидел, начальник ОЛПа:

— Куда ты эту тварь тащишь?

— Ничего, будет работать: привяжем ее руку к точилу — пусть крутит...

Все же настояла на своем Лариса, вывезла меня на санях — летом тоже на санях грузы перевозили. Прибыли на полевой стан Ардабас, в двадцати пяти километрах от Просторного. Я не то что работать, стоять прямо не могла. Поля по одну сторону от дороги засеяли пшеницей, по другую сторону рос подсолнух.

Инструмент затачивал Адам Адамович, старый немец из-под Перми. Руки у меня отекли, как стеклянные были. Он привязывает мою руку к точилу, а у самого — слезы на глазах...

Если бы не он да Лариса, пропала бы я в первый же год.

Лариса. Меня забрали в Белореченской, в тридцать седьмом. Было мне тогда тридцать лет, а младшему сыну — шесть с половиной. Работала я на станции, на железной дороге, ни в чем я не была виновата, ничего не сделала, а написала на меня сестра мужа. Это я уже потом узнала,

в конце следствия, что по ее доносу меня взяли. Управление МВД находилось в Туапсе, туда меня и отправили. Там сильно били, пятеро мужиков били. Поваляли меня на пол — и сапогами, сапогами. В это время музыка у них играла, телефон они заводили, танго играли «Брызги шампанского» и еще что-то подобное. Крики мои заглушали. Однажды убежала от них. Там был такой длинный коридор, меня в нем держали на стуле. А в камеру не запирали, в камерах мужчины сидели. По коридору ходили два стрелка, и был там еще один маленький коридорчик, из него — дверь во двор. Я эту дверь сразу не заметила, а потом, на третью или четвертые сутки, под вечер, решилась: подошла незаметно к двери и выскоцила на волю. Меня каждый вечер били, часов в одиннадцать принимались бить, я не могла больше терпеть. Выбежала во двор, а напротив — забор. Откуда Бог дал силы, — перемахнула через забор, выскоцила на шоссе. Вижу, идет какой-то мужчина, бросилась к нему: «Спасите меня! Спасите, товарищ! Они меня убьют!..» Но он испугался, отворачивается... Вижу — за мной уже бегут стрелок и следователь. Взяли меня, а следователь говорит: «Ну что вы разнервничались, успокойтесь». Ласково так говорит.

Вечером опять меня били. И еще один день. Избили и бросили чуть живую на полу. Я как только очнулась, часа в два ночи это было, сказала им: «Давайте, все подпишу. Только дайте мне прочитать, что там написано». Вот я читала дело с самого начала. Родилась я, значит, в 1907 году в семье помещика и принадлежала к дворянскому сословию. Это так они написали. Нет, говорю, не буду подписывать. Я простая крестьянка, зачем же вы меня в дворяне произвели?

А зря я сразу им не подписала, они бы тогда мне дали пять лет — и лады. Я же все отказывалась, они со мной пять дней мучались. Вот и дали десятку...

Как только я бумаги подписала, меня отправили в Майкоп, оттуда — в Краснодар. В тюрьме я получила приговор — решение тройки УВД из Ростова: десять лет лагерей. Решение вынесли 4 июля 1938 года — эту дату на всю жизнь запомнила. И как меня в Майкоп везли из Туапсе. Помоему, они звери, они извращенные, они садисты. Посадили меня в такую маленькую платформу, не платформу — вагончик, «калужанка» называется. Сижу впереди, в сторонке от моториста, а сзади — два гебиста. Пьяные. Вдруг приказывают: «Сиди, не двигайся, сиди смирно». И начали стрелять сзади — хлоп, хлоп, хлоп — из револьвера, только пули свистят мимо ушей: вжик, вжик...

— Сиди, не поворачивайся!

А сами стреляют. Не в голову, а рядом. Стекло дырявят в оконце. «Калужанка» проезжает родную Белореченскую, они стреляют и смеются...

Я никогда не поверила бы, что у нас в стране может такое твориться, пока на себе не испытала.

В Майкопе привезли меня в тюрьму, привели в камеру, а там негде сесть, войти даже нельзя. Втиснули меня с трудом. Лежали женщины арестованные на полу «замком», тесно, ногами сплелись. Поворачивались все вместе, по команде.

Не лучше было и в Краснодаре, но оттуда уж поехали этапом в Казахстан.

Лесное

Лариса. Скоро послали меня в Лесное, на посевную, бригадиром-учетчиком тракторной бригады. Я умела очень хорошо выписывать хлеб, паек дневной, акты составляла, просто оформляла, все нормы знала. Этому меня научили в

Долинке, на курсах нормировщиков при управлении лагеря. Поэтому меня все просили учетчиком в бригады.

Вот я одному бригадиру и говорю:

— Пойду к тебе, если возьмешь Матильду.

— А на кой черт она нужна?!

— Возьмешь ее горючевозом.

Не хотел он брать Матильду, а взял. Выехали мы в Лесное, ругаются все, преследуют ее. На кого Бог, на того и люди...

Бригадир говорит мне:

— Иди, полюбуйся на свою Матильду...

Матильда взяла маленькую хворостинку, подошла к быку. Он пасется себе, на нее не смотрит, а она подойти боится. Это же такое мирное животное, никого не обидит. Матильда от него отскакивает...

— Ты видишь? Кого ты мне дала, а?! — спрашивает бригадир.

— Ничего, она привыкнет. Человек в жизни не видел быка. Она привыкнет.

Помогла я Матильде надеть на быка хомут, сели мы с ней, поехали. Пока сидели рядом, она бодрилась, а как осталась одна, пала духом. Потом привыкла, стала хорошим горючевозом, хоть куда! Возила для тракторов бензин, автол и прочее.

Однажды накормила она быков пшеницей, да без меры. Их раздуло, еще малость и околеют. Зовет Матильда меня: «Ой, ой, ой...» Взяла я этих быков да и погнала в Просторное, шесть верст гнала — их только таким способом можно было спасти. Пригнала на место, там им сделала еще прокол, отходили мы их.

Такое она мне горе сделала...

После того случая уехала я учетчицей на овцеферму. И ее забрала с собой.

Матильда. Казахстанскую пшеницу подняли немцы. Это уже потом сочинили сказки — будто целину распахали комсомольцы. Сюда прибыли ссыльные немцы, сотни тысяч. Они освоили бескрайние степи, построили добродушные каменные дома, отсыпали и вымостили дороги, развели овощи, засеяли поля хлебом, заложили свиноводческие хозяйства...

Когда построили Турксиб, железную дорогу, все станции, все поселки заселяли в основном русскими. Они работали на станциях, в депо, на заводах. А землю поднимали, землю обрабатывали ссыльные немцы.

Началась война, и в Казахстан потянулись новые потоки ссыльных — переселяли целую республику, с Поволжья. Сюда, в Просторное, пригнали тысяч пять. Глазом нельзя было окинуть эту землю, отсюда и название местности — Просторное. Там было одиннадцать участков: Бринза, Лесное, Новая Точка, Медине, Байчегир, Итульген...

На каждом лагпункте работало от трехсот до тысячи заключенных.

Когда первые немцы распахали казахстанскую целину, превратили степь в богатую житницу, зерно не успевали вывозить. И в военные годы зерна было столько, что его с трудом перелопачивали, оно могло сгореть, испортиться. Какие сады высаживали здесь — это тоже заслуга тружеников-немцев, русских было мало, единицы...

Года три назад я приезжала туда, в Казахстан, там у меня есть друзья. Хозяин, Генрих Генрихович, дает мне ключи от дома, ключи от машины:

— Матильда, вот, возьми, владей всем, только помоги получить визу на выезд в Германию, похлопочи — больше мне ничего не надо.

Я ничего не понимаю:

— Что вы делаете, у вас же не дом, а дворец, не комнаты — хоромы, и второй дом — кухня отдельно в саду, и гараж, и «Волга»... Чего вам не хватает?

— Воли, свободы мне не хватает. Я не имею даже права вернуться в Крым. Там, под Симферополем, у меня дом был лучше этого, меня выселили, разрешили взять с собой двадцать килограммов вещей и — все... А я работал, я не спекулянт, мы все труженики... За что нам досталась эта доля?..

Сколько их выжило в лагере, «фашистов»? Почему их так называли, старых поселян Крыма, Поволжья? И меня иначе, как фашисткой, не называли.

Лагерную каторгу более двух-трех месяцев никто вынести не мог. В зону конвой забирал только тех, кто выполнил дневную норму. Им полагалась пайка — 450 граммов хлеба. Если не выполнишь — 300 граммов. И вкалывай до самой ночи.

В моей бригаде было всего десять человек, в бригадах по снегозадержанию — по двадцать пять—тридцать работяг. Они вырезали из снега кубы и складывали длинные стенки.

Самая тяжелая работа выпала на нашу долю и на долю саманной бригады. Саман — это глина, замешанная с соломой. Летом ли, зимой, бригада готовила из самана кирпичи для строительства домов. Все — помещения для охраны, бани, медпункты, бараки — все строили из самана. Бригады ногами месили глину, по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, голые пятки трескались, в иную трещину входил палец... Единственное лекарство, которое помогало, это собственная моча. Мужчины управлялись с лечением просто, женщинам было труднее. Посуды — никакой. Если кому удавалось найти консервную банку, это считалось редкой удачей. Каждая тряпочка, выброшенная волынными на помойку, — богатство. Стирали тряпочку в песке, в золе, мыла не видели годами.

Кизяк ВОХРе возили для отопления. А у нас бараки никогда не отапливали. И в сорокаградусные морозы не топили. Если мы, зеки, проходя мимо вахты, несли хоть клок соломы, надзиратели отбирали. Мы должны были подыхать не только от голода и надрывной работы. Холод тоже работал на Сталина.

Лариса. Матильде дали на короткий срок пропуск на бесконвойное хождение, пропуск под номером тринадцать. Охрана ее ненавидела. Стоило Матильде подойти к вахте и назвать свой номер — дежурный переспрашивал с издевкой (придуривался): «Шо?..» Она повторяла: «Тринадцать». Дежурный орал: «Какого х... ты тут болтаешь, не понимаю тебя!»

Я обычно сзади Матильды шла. И на этот раз — сзади. Как дам ей в спину, она пролетела проход за зону как пуля из ружья... А я голову в окошко сунула: «Что она тебе, х...м ложку изо рта выбила, что ли?!» Дежурный схватил винтовку: «Я вот, Бондаренко, всажу тебе пулю промеж ног, тогда узнаешь...»

Что мне оставалось делать, как ответить? Снимаю при всех штаны, нагибаюсь и выставляю голый зад: «Стреляй, гад, стреляй! В зоне стрелять не будешь, сука!»

Женщины отворачивались. Потом они говорили Матильде по-немецки: «Фрау Матильда, это же позор, как вы можете дружить с этой проституткой?...»

Я на них не обижалась, я держала зло на охрану, на вертухаев. Бедная Тиля, она пыталась приспособиться, показывала цифру «тринадцать» на пальцах. Вертухай говорил: «Шо ты мени кажешь? Я тебе не понимаю. А ну выходи, Хвышман!»

Матильда качает права

Матильда. Всякий раз, когда в зону прибывала какая-нибудь комиссия, меня запирали в баню на замок. Я не боялась начальников и говорила им всю правду, я просила войти в наше безысходное положение.

Кум забрал у заключенной Крюгер бриллиант, а квитанции не выдал. Начальник ВОХРы брал отборное зерно, по шесть-семь мешков, на корм кабанам. У них свиньи были, что вот этот платяной шкаф. Кабанов совсем закормили, — они уже стоять не могли...

Однажды в наш барак зашли приезжие начальники, я соскочила с нар:

— Граждане начальники, выслушайте нас, мы же люди, мы не скоты. Вот нас здесь двести пятьдесят женщин, у каждой бывают менструации, мы ходим и спим в брюках. У нас нет ни капли воды... Загляните в нашу уборную, — там даже к стене нельзя прислониться... Мы же люди, мы же не животные, помогите нам, граждане начальники...

Начальство было местное, карлаговское. Один спрашивает меня:

— Как фамилия?

А наш начальник за меня отвечает:

— Это знаменитая Фишман, мы ее знаем.

— Что вы знаете? — спрашиваю я его. — Вы ничего не знаете! Вы преступники. Вы губите людей. Посмотрите, сколько здесь раковых больных, они заболели по вашей вине!

С тех пор меня стали запирать в баню, лишь только слух пройдет, что к нам едет комиссия.

— Хвышман, выходи... твою мать! Выходи!

Там была одна комендантша, так она мне говорила:

— Фишман, вы позорите все бараки. Немцы хотят вас утопить.

Я ей ответила:

— Хорошо, я скажу Савельевой...

Лариса виртуозно владела языком, она так матюкалась, — никто не выдерживал. А я, никогда не слышавшая бранного слова — у нас красноармейцы разве что чертихались, — я должна была привыкать ко всему. И привыкла.

Однажды меня перед приездом начальства, как обычно, заперли в бане, но я выбила шайкой окно, вместе с рамой. Под окном, из-под бани, вытекали нечистоты. Зона большая, нечистоты текли зелено-белыми разводами рекой. Зловоние стояло неописуемое... Спустила я ноги из окна и, впервые в жизни, помолилась: «Господи, помоги мне...» И прыгнула в эту гущу... Вынырнула, хватаю воздух, не могу достать ногами дна, еще выгребаю, дальше, стараюсь достать землю. Вырвалась и по-пластунски, как солдат, ползу по траве, очищаю всю эту слизь. Полтора километра ползла на брюхе, переворачивалась, обтиралась травой, да где там, разве все снимешь с себя... Так я доползла до Мебонии.

Мебония при мне начал четвертую десятку в лагере. Он из Гори, где родился и Сталин. Он рассказывал, каким тот был распутником. Будущий генсек сидел за воровство, он кого-то ограбил, утащил много серебряных вещей. Мебония говорил, что Сталин — никакой не политик, а вор. В духовной семинарии он тоже попался на краже. Таскался по монашкам, развратничал.

Мебония говорит мне:

Матильда, умная женщина... В нашем бараке пятнадцать ленинградцев, все говорят — Матильда умная женщина. Зачем ты один идешь против советской власти? Ты дурной, или что? Ничего не будет. Их право, их власть.

Ты ничего не сделаешь. Ты что, хочешь на другую землю? Здесь Его власть, Сталина. Все остальные люди — Его жополизы, живоглоты... все, все, все! Они ему жопу целуют, а ты хочешь по-другому сделать, да? Этот начальник, который привезжал сюда, — такая же сволочь, как тот, главный, кремлевский...

— Нет, я добьюсь правды, будет правда!

Мы услышали гудок автомобиля. Перед нами длинное здание, с километр, а внутри — перегородки, отсеки, там хранилось зерно. Его время от времени перелопачивали, чтобы не портилось. Мебония говорит:

— Как пойдешь? Видишь, на крыше стрелок? Один шаг сделаешь, он тебя стреляет.

А я свое:

— Как он повернется, пойдет туда, я побегу вдоль склада.

— Не побежишь, он услышит, песок будет хрустеть... Сейчас ты будешь мертвый.

— Посмотрим.

— Вай, вай, вай, Матильда. Женщина, хорошая женщина, что сама лезешь на смерть?.. Как жалко...

— Значит, судьба. Дай мне мешок, пожалуйста.

Добрый грузин дал мешок, я обтерла слизь — на шее, кругом. Стало легче дышать. Смотрю на стрелка — он дошел до края, повернулся. Когда он дошел до середины, я на пальцах, на кончиках пальцев побежала, я делала огромные шаги, мне казалось, что у меня сейчас шпагат получится. Я так бежала и выстрела ждала, и верила, что проскочу... Бежала и угодила прямо к машине. Шофер затормозил. Мне кричат:

— Стой, стой!

Я остановилась.

— Откуда? — спрашивает меня какой-то начальник.

— Из бани.

— Как фамилия?

За меня ответил начальник нашего лагпункта Терехов:

— Ну, это известная Фишман.

А меня уже не остановить.

— Граждане начальники, выслушайте меня, у меня государственный вопрос, не личный, нет. Во имя государства, во имя Родины, на пользу войны я хочу с вами говорить.

Что за начальник приехал, я не знала. Видела только, что он в черной шинели, с золотыми погонами. Это был прокурор, ездили иногда по лагерям прокуроры по надзору за местами заключения. С ним в машине сидели Терехов и кум. Я им говорю:

— Граждане начальники, вы меня потом расстреляйте, если увидите ложь, хоть одну каплю, хоть одно слово неправды, — казните меня. Сейчас идет война, Родина в опасности, у меня очень важный вопрос, государственно важный. Только выслушайте меня, обязательно выслушайте!.. А потом расстреляйте. — Говорю, повторяю, а у самой слезы текут по щекам...

— Из какого барака? — спрашивает меня приезжий.

— Из первого женского.

Заговорил опять Терехов:

— Это заводила на весь лагерь, знаменитый оратор...

Я не промолчала.

— Как угодно называйте, но я коммунистка, была коммунисткой и останусь. И убьете вы тоже коммунистку.

— Идите в барак и переоденьтесь. Вас вызовут.

— Сердечно вас благодарю. — Я низко поклонилась и добавила: «Я очень жду».

...Весь вечер я ждала, пришла ночь, это были мучительные минуты. Вызвали меня в два часа ночи. За мной пришел стрелок:

— Хвышман, выходь... твою мать!

Подошла к порогу, Лариса меня перекрестила.

— Матильда, ты сама себе смерть нашла.

— Ну и Бог с ней. Как судьба назначила, так и будет.

Стрелок по дороге мне угрожал:

— Хвышман, сука, я тебе сейчас все пять пуль закатаю, ты никому покоя не даешь. Я тебя на месте порешу, б... такая!

— Гражданин стрелок, если вы меня будете ругать, я на вас начальнику пожалуюсь. Они пусть меня ругают, вы — нет.

— Иди, иди, не оглядывайся, а то сейчас вот штыком пропорю!

Привели меня в «третью хату» — так называли дом ОЧО, оперативно-чекистского отдела, где кум сидел обычно. Завели меня в кабинет. Стою перед начальником, руки назад.

— Граждане начальники, милые, дорогие, разрешите сесть, у меня ноги дрожат, меня стрелок по дороге обещал уничтожить, хотел всю обойму выпустить в меня. Я сяду и скажу все, что я обязана вам сказать.

Мне дали табуретку.

— Граждане начальники, сейчас идет война, не на жизнь, а на смерть.

— Это мы без тебя знаем.

— Конечно. Но сейчас я скажу главное. Бриллианты и золото нужны стране, как никогда. Равно как и хлеб...

— О каких бриллиантах вы говорите?

— А вот наш начальник, наш уполномоченный, Грибанов, взял у заключенной Крюгер кольцо с бриллиантом. Кольцо вернул, а бриллиант вытащил. Он должен был дать ей расписку.

— А что, разве заключенные могут иметь бриллианты?

— Нет, нет, все должно быть у государства, потому что сейчас идет война.

Начальники переглянулись.

— А ты знаешь, что заключенные не имеют права на вольных ничего говорить?

— А если он преступник, вор, разве и тогда нельзя? Ведь вот он вор, он разворовывает государственные ценности. Мой папа именем революции расстрелял в Ялте, в банке, Алдонова, присланного из Москвы. Он расстрелял его за то, что тот украл государственные деньги. А они здесь вот что делают. Наш гражданин начальник Терехов выкармливает свинью в два с половиной метра...

— Откуда ты знаешь, что она в два с половиной метра?

— Когда я сторожем была на току, он прислал своего коня, и тот взял шесть мешков отборного зерна. Спрашиваю его: «Зачем тебе так много пшеницы?», а он: «Там такой кабан, — за два дня все сожрет. Он за час два ведра пшеницы съедает, огромный, более двух метров длины».

Начальники опять переглянулись. Я продолжаю.

— Возьмите начальника охраны. Это человек, который должен порядок соблюдать. Если заключенный взял горсть моркови, ему дают десять лет. Если он запрячет в свои чуни сто граммов семечек, ему дают десять лет. А начальник ВОХРы по десять мешков отборной пшеницы берет. Берет и предупреждает: «Если ты, б..., скажешь кому-нибудь, я тебя отсюда живой не выпущу». Я согласна не выйти отсюда живой. Но зерно он не имеет права воровать. Вы посмотрите, сколько людей погибло, пока плотину разбирали и новую сделали.

Сколько птицы, гусей, уток здесь плавает... Все это вскармливается на поте и крови заключенных. Они добывают это зерно для армии, а охранники выкармливают свиней и птицу для себя. Они выменивают у нас, заключенных, золотые коронки, дают кусок хлеба за зуб.

В общем, я сказала все-всё... Они только переглядывались. А тот, в черном, даже вроде улыбнулся мне, придал мне уверенности, подбодрил. А закончила я так:

— Пусть я уйду из жизни, но я буду знать, что этих преступников уберут отсюда. Если заключенному за сто граммов дают пять и десять лет, то им надо давать, этим ворюгам с партбилетами, по двадцать пять. Все. Больше у меня к вам ничего нет.

— Отведите ее в барак,— распорядился начальник.

Лариса. Матильда захотела в лагере порядок установить... Какая-то немка пришла: у нее бриллиант из кольца потерялся. Ну какое твое собачье дело? Пусть хоть двадцать бриллиантов пропадет.

Приехала комиссия из Москвы. Матильда на работу не пошла, притворилась тяжелобольной, лежит на нарах. Заходит в барак комиссия, кто-то командует: «Встать!»

Матильда лежит: «Почему я должна вставать? Я больна. Вы лучше посмотрите, на чем мы лежим? Мы на жердях лежим. Каково это после тяжелого дня...»

Матильда разошлась, не остановить... Она и про жерди и про посуду, мол, в той же миске, из которой едим, в ней же и трусы замыкаем. В общем, начала она порядки свои выказывать, а комиссии все это ни к чему. Есть такая пословица: собака собаку не съест.

Верно, начальника лагеря сняли. Его вот за что сняли. В совхозе были племенные лошади, не лошади — красавцы писаные. Начальник обменял их на местных, казахских. Те были никудышные, смотреть не на что — ни работы с них, ни виду. Зато большие деньги с казахов взял начальник. Это он во время войны сделал.

Пока ждала Матильду, я не спала, всех богов помянула, думала, больше свою Тилю не увижу. Наконец, она пришла, а говорить не может, обещала завтра на работе все рассказать.

Утром вся зона узнала: начальника нашего лагеря и кума, да и начальника охраны убрали. Стрелки между собой: «Слышишь, эта б... Фишман всех нас засыпала. Но ничего, мы ей устроим...»

Матильда. ... На работу часто следовали с бригадами мужчин. Им было легче, они могли на ходу облегчать мочевой пузырь. Женщины просились, но конвой не разрешал. Иногда разрешал и убивал, ведь шаг влево — шаг вправо считалось «попыткой»... Некоторые стрелки натренировались одной пулевой убивать двоих. За голову платили 60 рублей. Я всегда мочилась на ходу. Но я никогда не просила конвой пустить меня в сторонку. Лариса шла сзади и приговаривала: «Давай, давай, не держи, я все потом отмою». И она брала мою одежду полоскать в речке. Если бы не она, меня давно бы там казнили. Она меня не отпускала ни на шаг, нигде, ни на минуту.

В буран нас все равно водили на работу. Ходили вдоль веревки, держались за нее крепко. Если кто отпустит веревку, или ветром его оторвет, он на шаг-другой отстанет от ряда, стрелок сзади пристрелит. Пихнет в сторону и прикончит. В буран не слышно выстрела.

Охранник не оставит вас ни за что, он вас добьет.

Один раз меня ветром оторвало от веревки, Лариса ухватила за ворот, она порвала его, но спасла от верной гибели.

Лариса. Мебония мне говорил:

— Передай Матильде, зачем себя не жалеет. Она умная женщина, хорошая женщина, почему не понимает — одна против машины идет? Вот я расписался за четвертую десятку и молчу. Что я один могу сделать? У нас в зоне, в бараке, ленинградские люди тоже хотят на Матильду посмотреть —

что за человек, одна думает все перевернуть, она живая отсюда не выйдет...

Все уже знали, что начальников и старого кума сняли по ее заявлению, после разговора с прокурором. Бывало, идет она мимо больницы, а оттуда кричат: «Мать, голос, голос!»

Они хотели услышать Матильду.

Вызвал ее кум, новый кум, Ермоленко, это имя тоже надо запомнить и обнародовать: пусть все знают наших палачей.

Вызывает Ермоленко:

— Фишман, что это у вас за условная перекличка с заключенными?

— Откуда я знаю? Вы же сами прикрепили меня к мужской зоне. Они меня спрашивают, приду ли я сегодня. Я отвечаю, когда приду. Вот и все.

Старая чекистка

Матильда. Стала я работать в мужской зоне. Первым делом пришла в барак, где жили ленинградцы. Их сюда привезли давно, задолго до войны. Спрашиваю одного:

— Скажите, папаша, вы здесь все из Ленинграда. Кто именно убил Кирова?

— Сперва скажите мне, за что вы сидите?

— Я сижу ни за что,— ответила я твердо.

— Вы, значит, ни за что сидите. А мы за что? У вас голова работает?

— Трудно ответить... Может, она теперь и не работает...

— Так вот, слушайте, убил один человек по указанию правительства. А вы ищете убийцу среди нас... Мы просто жители Ленинграда, и виновны в убийстве Кирова не более, чем вы.

— Спасибо вам,— сказала я и подумала: как он осторожен, говорит «правительство», не называет того, единственного...

А он: «Может быть, вы доживете до воли, запомните: в нашем бараке двести пятьдесят человек, каждый день кто-нибудь умирает от голода, от холода. Нас взяли летом, без одежды, без вещей, в бараке нет печи, стены позеленели, стены не выдерживают этой сырости, здесь же нельзя жить, нельзя выжить... Скажите там, в санчасти...»

Что я могла сделать? Я обошла все бараки, там было грязно, до отвращения грязно, не то что у ленинградцев. Это были интеллигентные люди, от них я за все время не слышала ни одного бранного слова, они умирали с достоинством.

В бараке уголовников мне пришлось лечить мальчика. Урки дали ему женское имя «Катя» и насиливали его зверски. Он страшно страдал, ему все разорвали... Великой хитростью достала вазелин, принесла ему. Он, бедный, лежал и стонал...

Однажды направили в мужскую зону врача-стоматолога, еврейку. Ее сразу же завербовал кум, взял с нее подписку. Вскоре ей представился случай для доноса. Проходя по бараку БУРа (барак усиленного режима), она заметила возле окна стальнойную стрелу. Запертые в бараке штрафники устроили там подобие тира: нарисовали на стене круглую мишень и состязались в метании стрелы в цель.

Старушка врач донесла, пришли надзиратели, устроили шмон и нашли стрелу. Когда на другой день доктор пришла в барак, ее раскачали и бросили на проволочное ограждение, на провода под током высокого напряжения. Так казнили стукачку.

Назначили в эту зону лекарем бывшего учителя. И этого несчастного кума завербовал. Учитель был тоже стар, изголодался и готов был служить за кусок хлеба самому

дьяволу. Начал и он доносить на заключенных, таких же, как сам. Они взяли его, скрутили, достали из ящичка, который он постоянно носил с собой, бинт, и этим бинтом привязали член к двери. Рот закрыли кляпом — и давай тянуть. Кончился дед.

Вызывает кум меня:

— Пойдешь работать в БУР лекпомом.

— Что ж, — отвечаю, — что ж, я пойду туда, куда пошлют.

— Но ты должна дать расписку-обязательство, — закончил кум.

— Нет, на это вы не рассчитывайте, — ответила я. — Нет, гражданин начальник, вы уже погубили двоих, бабку и деда, а мне жить еще не надоело.

— Тогда пойдешь в общую зону.

В эту ночь я не спала. Вспомнила молодые свои чекистские годы.

После землетрясения 1927 года пострадали все города и поселки южного берега Крыма. От Ялты почти ничего не осталось, и уцелевших служащих направляли в другие города. Я попала в Абхазию, в Сухуми.

Подошел 1936 год. Массовый террор набирал темпы. Братские народы Закавказья страдали от истребительной внутренней войны не меньше народов России. Наместник Сталина на Кавказе Берия знал о пристрастии Большого Папы и уничтожал грузин, мингрелов, абхазцев десятками тысяч.

Подследственных в Сухумском управлении НКВД держали в подвале. Однажды, спускаясь за чем-то вниз, я увидела на лестничной площадке нечто вроде стеклянного шкафа, а внутри — человека, измощенного, полуживого. По запавшим желтым щекам стекали капли пота. Может быть, то были слезы? В узнике я опознала знакомого партийца. Забыла фамилию... Имя помню — Илларион. В стеклянный шкаф не проникал свежий воздух. Илларион потерял сознание, свалился со стула. В такие шкафы помещали самых упорных узников, тех, что не подписывали чистосердечных признаний...

К тому времени я уже начала привыкать к местным художествам, но стеклянный гроб!.. Я поднялась в кабинет Ладарии, начальника управления НКВД, положила на стол партбилет и заявила, что отказываюсь работать в этом учреждении.

— Может быть заодно исключить меня из партии.

— Не хочешь работать у нас, сдохнешь от чахотки, — сказал начальник. — На, забирай свой партбилет. Пойдешь работать в санаторий «Азра» для больных туберкулезом горла.

Метель

Однажды спецконвой отвел меня в Просторное по вызову начальника ветеринарной части. Его жена пыталась вызвать искусственные роды, сделала неудачный аборт, открылось кровотечение. Я имела специальность фельдшера-акушерки, — мне удалось спасти женщину. Провожая меня в обратный путь, начальник дал своего возницу, запряг в сани племенного жеребца. Путь на участок Медине, откуда меня привели сюда, лежал через снежные поля, мимо сопок. Долго ехали, очень долго, пора бы уже быть зоне. Возница спрашивала:

— Доктор, доктор, ты вешки видишь?

Вешками, жердями, поставленными вдоль санного пути, обозначали дорогу. Возница был с одним глазом, плохо видел. Я приглядевшись к обочине.

— Нет, никаких вешек не вижу...

— Значит, мы заблудились.

Начиналась метель, на мне была одна телогрейка, возница же поехал в меховом тулупе. Конь притащил сани в глубокую лощину и завяз в глубоком снегу.

— За этого коня нам с тобой еще по десятке дадут, у него яйца отмерзнут, — заметил возница.

— Выпрягайте.

— У меня руки замерзли, ничего не чувствую, пальцы закоченели.

Тогда я выскошила из саней, рассупонила, выпрягла коня, ударила по крупу, и он пошел, пошел сам и пришел в Просторное. Там догадались, что с людьми случилась беда, отправились искать. Об этом я узнала потом, а пока надо было спасать жизни. Я забыла упомянуть, что начальник ветчасти подарил мне суковую лопату. В лагере это — целое богатство! Вот этой лопатой я начала сгребать снег, вырезать кубы твердого снега и строить перед санями заслон от ветра. Он усилился, поземка свистела, наметала огромные сугробы. Саны были невелики, я соорудила из них подобие крыши — и дом готов. Только вырыла под крышей яму в снегу, позвала возницу. Но он отказался двинуться с места, закутался в свою шубу и сидит. Я стащила его силой в яму. Мне бывалые зеки говорили — застанет в пути метель, — выкопай яму, устрой берлогу и не вылезай, пока ветер не стихнет...

Только мы устроились, слышу — жуткий вой, лязганье зубов, возня на крыше. Это волчья стая пытается добраться до нас. Волки скребли когтями по саням, рычали... Вспомнила я другой совет: когда на тебя в степи нападут волки, не кричи, а вой, вой по-волчьи, да грозно вой, — волки испугаются и отстанут. Не знаю, что отпугнуло волков, может быть, и мои завывания, но их скоро не стало слышно. Возница затих в своей толстой шубе, да так и застыл навсегда. Я согревалась песнями боевой молодости.

Вот так я пела до рассвета, утром выбралась из своей берлоги. Метель стихла, снега нанесло целые горы, если нас кто искал, то найти под снегом не мог. Я взобралась на сопку и разглядела внизу, в долине, дымок над длинной крышей кошары. Это была овцеферма Егинджал. Я увидела, как из кошары выводили отару овец и кинулась по глубокому снегу вниз, навстречу. Овцы охраняли огромные сторожевые собаки, они бросились на меня. Бывалые люди советовали не убегать от собак, а вставать на четвереньки и рычать на них. Я упала в снег и зарылась поглубже: этих собак не смог бы напугать сам черт, так огромны и свирепы они были. За собаками спешил человек с граблями, он кричал что-то, пытаясь их остановить, но собаки были уже возле меня. Они бы меня загрызли, разорвали бы на куски, будь я на ногах... Человек откопал меня и помог дойти до кошары. Две недели пробыла я на участке Егинджал, пришла в себя, поправилась.

Арестантские радости

Мы умирали с голода. Но была у нас одна радость — собачья кухня. Она находилась неподалеку от нашей жилой зоны, и, проходя мимо нее, колонна всякий раз замедляла шаг: из кухни доносились волшебные запахи мяса, настоящего мяса. И овсянки. Мы шли и мысленно обедали с ними, мы ели по-человечески, внухиваясь в собачью стярню... Мы шли медленнее, еще медленнее, мы готовы были совсем остановиться, но раздавалась команда: «Прибавить шаг! Да-тай, давай, ... вашу мать!»

Случались праздники и на нашей арестантской кухне, когда поступала бааранина. Не совсем бааранина, а внутренности павших овец. Если в кошаре чабан обнаружил павшую овцу, туберкулезную, он вспарывает брюхо и первым делом вытаскивает легкие, желудок, кишечки, — все внутренности. Они сплошь загноились, смердят... Вот эта «бааранина» и поступала на нашу кухню. На радость заключенным.

В этот день я баланду не ела, я знала какое мясо плавало в нашем «супе»...

Лариса. Мне довелось работать на овцеферме, в ветеринарной части. Я там выходила, вырастила маленького баранчика, Борьку. Он бегал за мной, как привязанный. Подрос немного Борька и пропал. Прихожу как-то к себе, вижу, мой Борька уже висит, шкурку беленку содрали. Подъехала бедарка (двуколка) начальника, туда забросили тушику и увезли.

Матильда. Начальники не одно зерно таскали государственное. В каждой отаре овец паслись частные овцы охранников, начальников, оперативников... Куму и начальнику лагеря ежедневно поставляли ярочек — на обед. У них к столу всегда были свежие овощи. Нас, заключенных, кормили годами одной баландой. Это были самые настоящие истребительные лагеря. Если тебя не подстрелят охранник, голод подточит.

На овцеферме мы лежали взаперти в кошаре, на овечьем навозе. Немцам доить овец не позволяли — и мне заодно. Так я ни разу и не попробовала овечьего молока, зато бруцеллез на всю жизнь приобрела. Дойку доверили только казахам. Смотрю, как молоко в ведра стекает, и плачу. Охранник следит:

— Хвышман, что глазами ссышь! А ну, выхой!

Сколько лет потом снился мне один и тот же сон.

Я купила кувшин молока. Топленого, с пенкой. Только поднесу кувшин ко рту, пенку губами возьму... — «Подъем! На развод!»

Поднимаюсь с нар, плачу. Я уж просила одного заключенного священника:

— Батюшка, как надо молиться на ночь, чтоб приснилась мама?

Он не знал...

Лариса. Нам все завидовали: мать прислала мне два гребешка костяных, вычесывать вшей. Все к нам подливались. Вычесать вшей из головы — тоже праздник. Сплошные праздники...

А еще у нас был — неслыханное богатство в зоне — котелок. Так меня и звали: «Курва с котелком».

Матильда. Лариса добыла котеночка. Ходила к какому-то старику, любезничала с ним, он давал ей иногда бутылочку молока козьего. Так она выкорнила этого котенка. Выросла настоящая кошка, да какая! Она наловчилась ловить всякую живность: то двух сусликов принесет, то крыс или мышей... Лариса считала добычу, делила пополам и приговаривала: «У меня есть ножичек (то был лагерный нож, осколок пилы, заточенный с камнем), у меня есть сковородка (кусок железа с ладонь величиной), сейчас мы их зажарим...» Она отрывала головы сусликам (делила: «тебе и мне, тебе и мне...») и срывала шкурки, как перчатку, отрезала лапки, с кинжалом снимала сало, потом, как беркнут, вырывала в высокой траве дикий чеснок, это была приправа...

Лариса. Сварим с Матильдой сусликов или мышей, я ем и приговариваю:

— Смотри, Тиля, не глотай сразу, ты подержи во рту, чтобы почувствовать мясо. Да косточку пососи, погрызи, погрызи косточку-то...

— Так зубов же нет...

— Ну и х... с ними, что нет. А ты все равно грызи.

Мыши как воробушки, маленькие, косточки тоненькие... Воробьев мы тоже ели. Мы их нанизывали на острую палку и — на огонь. Только-только обгорят перышки, — и в рот. Соли не было, но они шли полусырые, прямо с палки. Это был

наши шашлык, фирменное блюдо. Где мы брали воробьев? Я достала крепкую, ровную палку, как биту. С этой палкой я бегала к Мебонии, на зерновой склад. Он меня очень любил. Там у него воробьев было видимо-невидимо... Кину палку и одним махом четырех, а то и пятерых подобью. Тем и спасались...

Кошку, которая нас с Тилей кормила, мы называли мамой. Ее застрелил охранник Кабиров, б... такая. Разве это забудешь? Нас кто-то продал. Ведь кошка таскала нам живность. Значит, жизнь наша будет продлена. Кто же это потерпит?.. Арестанты завидовали:

— Откуда у вас мясо?

Я отвечала:

— Вот наш начальник снабжения, — и указывала на кошку. Она была беленка, наша кормилица, Кабиров увидел ее возле нашего барака и пристрелил.

Матильда. Мы с Ларисой посадили картофель. Мы его окапывали, поливали как могли. Картошка выросла вот такая, с кулак. Охранники тоже посадили картофель, но они же ничего делать не хотели, картошка уродилась у них мелкая. Они у нас крупную отобрали, а нам дали свою. Щедрые люди: могли ведь ничего не оставить, просто отобрать нашу... Лариса стала их матюкать. Они подняли винтовки:

— Становись.

Я упала им в ноги:

— Не надо, не надо! Убивайте нас вместе.

Лариса. ...Они повели нас вместе в зону. Завели меня внутрь, а Матильду выпустили за зону, там, где мы рядом с проволочным ограждением устроили свой огород. Она написала ксиву: «Ларисочка, родненская, пойди к пузике». (Мы условились называть кума «пузиком», а начальника лагеря — Веревкиным.) Я ответила: «Не пойду я ни к каким пузикам, пусть я пропаду, пусть меня водят под конвоем, пусть я погибну — никуда не пойду». Это я впервые сорвалась, с этой картошкой...

Матильда. А сколько радости приносил банный день... Один раз в двадцать дней нам давали шайку деревянную воды со щелоком из караганника, это настой такой. Если хотели напиться и помыть хоть что-то, просили банщика: «Не надо, не надо щелока...» И вот ты пила сколько хотела, один раз за двадцать дней — сколько хотела, а остатки уж выливала на одно место. Всё тело оставалось немытым. Женщины в ватных штанах вытряхивали их после прожарки — в банный день полагалась дезинфекция одежды — перед каждой насыпалась кучка красной трухи. Все ходили с мокрыми по щиколотку ногами, в зловонной крови. От всех несломлеченной.

Лариса. Зато ягод было сколько душе угодно!

Ягодник в саду занимал 40 га, очень много было черной смородины, крупной, душистой. Ягоды собирали тоже мы, зеки, только пробовать нам не давали, суки. Норму назначили нечеловеческую, а не выполнишь — в карцер, на 300 граммов хлеба. Охранники следили строго, увидит, кто ягоду в рот положил, крикнет: «Чего жрешь, б...!» И сапогом под зад, по хребту. Сами ели, сколько хотелось, и кошелками домой уносили. Все ягоды — к столу начальников.

Матильда. В дни праздников мы тоже радовались. Радовались, глядя на начальников. У них гремела музыка, там плясали, пели. Особую радость им доставляла песня «Широка страна моя родная» и эти строки:

...Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В эти дни нас, предварительно обыскав как следует, раздевали догола, ставили на голову, женщин тоже (заглядывали во все места, рылись везде, каждую жердочку обнюхивали — это называлось «пролетарским шмоном»), в эти дни нас запирали на замок в полуразрушенных бараках, мы жались по стенкам и наблюдали в щели, выглядывали в окошки: начальство гуляет...

Кладбище

Матильда. Умирали часто, в бараках, в лазарете — от истощения, от непосильного труда. Трупы вывозили на повозке, запряженной быком, зимой — на санях. Санитары накладывали мертвяков штабелем: сначала один ряд, потом, попerek, второй, сверху еще один. Штабель перевязывали веревкой, чтобы в дороге никто не потерялся. Был так просто с места не трогал, пока ему не крикнут: «Цоб... твою мать!», он стоял неподвижно. Зато, получив привычную команду, тащился на кладбище сам. Придет на место, встанет и начинает трясти сани с боку на бок. Скинет всех мертвяков и замычит. Придут могильщики, чуть набросают сверху мерзлых комьев земли, вот и все похороны.

Но случались покойники другой категории, низшей. В нашем лагере расстреливали почти каждый день. Ночью поднимали очередную жертву «на этап» с вещами. Выводили за сопки и «пускали в расход». Там и бросали тела. По весне стаяи ворон кружили над тем местом. Сбегались одичавшие собаки, растаскивали трупы, носились по поселку, а в пасти — оторванные руки, ноги... Вороны от покойников белые косточки оставляли.

Кладбищем распоряжался Брендель, польский еврей, родом из Львова. Он получал из дома богатые посылки. Надо было случиться такому — жена кума, лагерного уполномоченного органов госбезопасности, увлекалась вышиванием. Жизнь в Просторном сырья, тихая, что ей было делать? Брендель написал домой, оттуда прислали ниток мулине. За это кум назначил его старшим на кладбище. Мы годами не видели никакого мыла, а от Бренделя — об этом не могла мечтать ни одна лагерница — от него пахло мылом земляничным...

Основным поставщиком в хозяйстве Бренделя была больница, а в той лагерной больнице — палата № 40. Сюда помещали безнадежных. Они умирали ежедневно, истощенные до такой степени, когда уже пища не впрок, организм ничего не принимает. Я ходила между коеч, присаживалась к умирающим. Их было нетрудно угадать: перед смертью бедняги в последний раз лихорадочным взором окидывали барак (в лазарете барак носил гордое название «корпус») и судорожно перебирали прозрачными пальцами тонкие лагерные одеяла. Подсяду к кому-нибудь:

— Что тебе, может, воды подать?

— Ничего не надо. Конец мне...

— Ты что это? Мы с тобой еще на воле встретимся, покурим вспасть да по рюмке выпьем.

— Эх, мамаша, чуток пораньше бы, я, может, встал бы еще... Теперь все.

— Брось ты об этом,— говорю я ему,— я еще твоих детей нянчить буду.

Он вроде улыбается, или мне так покажется. Ведь арестантское лицо после тюрем это не совсем человеческое лицо. Он будто улыбается, сухие губы чуть дрогнут, потом тело вытянется и — готов. Тут же его санитары подхватывают: надо сразу рубаху снять, пока теплый. А замерзнет, придется ее резать. Жаль рубаху.

Лариса. Я тогда бесконвойная была, по пропуску ходила, значит, новости узнавала первая. Моя землячка Маша Сергиенко, молодая, не совсем еще порченная, работала в отряде ВОХРы прачкой. Как-то раз летом она услышала, что ночью пригонят большой этап из России, из самой Москвы. Я сказала Тиле, и поутру мы пошли с ней вместе узнавать: куда поместили новеньких. Мы их не нашли, в нашу зону они не попали. Я высматривала возчиков, тоже бесконвойных,— нет, и на дальние подкомандировки никто не прибывал. Но от лагерника правды не спрячешь, у него слух и нюх — что у той ищейки. Отыскался след этапа. Наши экспедиторы возвращались в ту ночь на грузовике из Долинки, он слышал за кладбищем, там, где начиналась глубокая лощина, частые выстрелы.

Весной из-под снега показывались черепа и конечности мертвяков, туда слетались большущие стаи ворон. Нас, бесконвойных, на кладбище не пускали, за кладбище — и подавно, но мы уже все знали. Сколько тысяч матерей, жен осиротели, изверги, сколько детей без отцов осталось...

Начальник приказал засыпать ту лощину, а заодно — перепахать все поле-кладбище. Послали вольного тракториста, но он недолго пахал. Как увидел кучи тел, оторванные руки-ноги, бросил машину и побежал назад. Его потом в психзоне видели, тронулся умом, бедняга.

Начальники, те умом не тронутся, нет. Они и сейчас живут припевающими в домах, построенных на нашей крови, живут на курортах, наши пенсии нищенские заедают. Никто с них за убитых-замученных не спросит... Никто...

Матильда. Могильщиком у Бренделя работал украинский националист Верба, необычайной физической силы мужик. Таких, как он, борцов за свободу украинского народа, окрестили «бандеровцами», по имени руководителя Бандеры. Копать там могилы было невозможно — не грунт, а камни, валуны, их нужно выковыривать ломами. Да мерзлота. Лагерники мрут, как мухи, тут уж не до могил... Бандеровец Верба заболел, куда делась его былая сила. Теперь он просто сваливал покойников с бирками на ногах на дно общей ямы, чуть присыпал землей, камнями и сбрасывал следующую партию, уже попек. Если мертвяк попадался рослый, Верба сворачивал шею, прижал голову к плечу и втискивал в яму.

От болезни Верба высох, почернел, один нос торчал, длинный, тонкий, как птичий клюв. Когда подошла его очередь, никто ему отдельной ямы нерыл, тоже свернули шею и бросили в общую яму. Смерть Вербы казалась нелепой, люди к нему привыкли, он стал как бы неотъемлемым инвентарем лагерного быта — между жизнью и смертью.

— Где Верба? — спрашивали зеки.

— У Бренделя остался...

Минцен-Майер

Матильда. Ее направили в мою караганную бригаду зимой. Полуодетые, на морозе, в глубоком снегу, мы заготовливали дрова из караганника, рубили мерзлые, кривые стволы простыми тяпками, тупыми, плохо заправленными. Минцен-Майер была так истощена, что не могла отрубить ни одной ветки... Я брала у других бригадниц и собирала ей кучку. Надо же было хоть полнормы показать. Норма на человека была пять кубометров, ее и здоровый мужик, с топором, ни за что не выполнит, а тут больные, немощные женщины. Приходилось тутфить. Придет десятник с контрольным замером, пока в одном конце замеряет

кучки, пока переходит к средним, я успеваю перенести с обмеренного участка в другой конец несколько охапок. Вся мокрая от пота, спешу по глубокому снегу.

...В дальнем конце стоит женщина, и бьет тяпкой по одной и той же ветке. Темно уже, пора сниматься с работы, а она все рубит, рубит, рубит. Стрелок кричит: «Эй, фашистка, давай!» Она не слышит, но остановилась, не рубит уже.

— Бригадир, иди за ней! Какого х... она там стоит! Бегу за ней, пояс в снегу бегу.

— Товарищ Минцен-Майер, неужели вы не слышите?

Из-за вас меня заставили сюда бежать...

Она не отвечает.

— Милая, что с вами?

А она как лед... Стоял мороз в пятьдесят градусов.

Я позвала людей, вытащили немку на дорогу, подошел стрелок, постучал прикладом по грудной клетке, сделал заключение:

— Пи...ц, накрылась.

И дал команду двигаться.

— Но мы не можем ее здесь оставить, ее волки сожрут,— это я говорю.

— Ни х..., волки мертвых не жрут. Становись!

Лариса. Однажды вызвал меня кум и потребовал доносить на Тилю. «Фишман фашистка,— говорит он мне,— она и здесь шпионит за всеми. А ты наша, русская, советская. Ну, оступилась раз в жизни, отбудешь срок, но останешься патриоткой. А Фишман — враг и умрет врагом. Таких выпускать на волю нельзя. Будешь раз в месяц писать обо всем, что она говорит, что делает...»

Я наотрез отказалась:

— Какой же она враг, гражданин начальник, она честно служила родине, у нее все близкие — и отец, и братья, и сын — погибли.

А кум — свое:

— Да ты не бойся, никто не узнает. Будешь раз в месяц заходить в медпункт, к старшему санитару. Попросишь кусок марли, он даст тебе лист бумаги, напишешь все, что надо, и гуляй.

Я заплакала, сделала вид, будто испугалась и опять отказалась. Больше он меня не вызывал.

Витя Бер

Матильда. Ему было девятнадцать, работал он в ремонтной мастерской. Третья часть, оперативно-чекистская, царство кума, находилась рядом. Так вот, стали вызывать Витю в третью хату чуть ли не ежедневно. Вокруг хаты высокие тополя, она стоит на холме, всем видно, кого туда направляют. За Витей установили слежку.

— Слушай, Витя, ты что, хочешь, чтобы тебя утопили в отхожем месте? Почему тебя кум так часто вызывает?

— Ребята, клянусь, я ни при чем. Кум заставляет меня доносить на вас, я должен сообщать ему все: о чем вы говорите, что делаете, не изготавливаете ли ножи, пики... Вот из БУРа принесли стрелу, кум всполошился...

Витя заверял товарищей, что не дал куму подписки.

— Почему же ты продолжаешь ходить туда?

— Как же я не пойду, за мной каждый раз стрелка посыпают. Кум еще надеется меня принудить...

Витя не поверил и предупредил, что если он еще раз туда пойдет, его утопят.

В тот день он не пошел на обед, остался в своей мастерской. Все пришли с обеда, инструменталка закрыта. Взломали замок и увидели Витя, висящего в петле. Он привязал веревку к верхней балке, взобрался по лестнице на-

верх, надел петлю на шею и прыгнул вниз. На груди записка, клок наждачной бумаги. На обратной стороне читали:

«Товарищи мои, своей смертью докажу, что я не стукач, я честный человек, в моей смерти прошу винить кума».

Хоронили Витя так. Вырыли яму и сбоку, в самом низу,— еще одну яму, для тела. Гробов там не было, люди не хотели, чтобы земля засыпала его честные глаза. Вскоре на могиле Вити появился огромный камень — трактористы приволокли. Внизу надпись:

ВИТИЯ БЕР. ОН БЫЛ ЧЕСТНЫМ ТОВАРИЩЕМ.

Чьи-то добрые руки выдолбили эти буквы зубилом.

Кум распорядился убрать камень с могилы. И еще раз убил Витя Бера, убил зрямую память о нем.

Витя рассказывал, что его мама была учительницей. Где она теперь, в восточной, в западной Германии? Пусть узнает о последних днях сына. Пусть узнает имя убийцы. Кума звали Ермоленко.

Ирен

Матильда. Сколько лет прошло, сколько людей умерло у меня на руках в лагерных бараках. Но эта... Ее привезли к нам в Саратовскую тюрьму. Камера набита до отказа, но ее силой втолкнули, дверью прижали к толпе, она кому-то наступила на ноги...

— Куда лезешь, падло!

— Я не знаю, меня дверью прижали...

Я говорю:

— Доченька, иди по стенке, иди так, как будто ты на катке, не поднимай ноги, скольззи, скольззи. Я тебе руку подам, и ты дойдешь до серединки. Так она и сделала, а я ее прятанула к себе.

— Откуда ты?

— Из Москвы.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Сколько тебе дали?

— Двадцать пять.

— За что?

— Я рассказала анекдот. Я боюсь, я теперь очень боюсь... Не спрашивайте меня, пожалуйста...

— Меня ты не бойся. Я тебя защищать буду.

...Она жила в Зарядье — на этом месте стоит теперь гостиница «Россия», — шла домой и увидела на памятнике Минину и Пожарскому фанерку с надписью: «Смотри-ка, князь, какая мразь в стенах кремлевских завелась». Фанерка эта на ленточке, была надета на руку Минина, протянутую к Кремлю. На другой день Ирен пришла в школу, она училась в девятом классе. «Девочки, я читала — на руке у Минина было написано...» — и повторила. Тотчас комсогр побежала в учительскую, через десять минут в школу прибыл агент МГБ и девочку увезли.

«Когда меня осудили на 25 лет, мне сказали, что если я об этом еще кому-нибудь расскажу, меня расстреляют».

Она попала в наш лагерь, немецкий. На тяжелых работах — мы выкапывали из плотины огромные камни, вот как эти тумбы, — она надорвалась, у нее мензес начался страшный, кровь пошла кусками... Она знала, что я фельдшер.

— Тетя Матильда, что со мной делается?

— Деточка, я поговорю с доктором, чтобы тебя оставили в зоне. Иначе это пагубно скажется на всей жизни.

Ирен лежит на нарах, плавает в крови. А нары были из жердей. Не из досок — из жердей. По желобам стекает кровь. Зашла в барак врач.

Ирен просит:

— Доктор Таня, что мне делать, у меня кровь течет.

— Выходи на работу! Будешь тут валяться!.. Это у тебя с недо...

Неподалеку лежала Миня Дворецкая, мать шестерых детей. Она тоже обращается к доктору:

— Тетя Таня, мой колофа не держит... Хочу колофа поднять, а он вниз...

— Это у тебя с пере... Давай, давай выходи!

Доктор вышла. Миня спрашивает: «Что это за болезнь?» Ирен тоже спрашивает: «Что это такое, «с недо...» Какая это болезнь?»

...Ирен, девочка, какая она была красивая, какие у нее были чудные волосы. Куда она потом делась, не знаю.

Лариса. А я знаю. Ее отправили в дальний ОЛП, отдельный лагерный пункт, тоже женский. Начальником там был один армейский капитан, из штрафников. Он не пропускал ни одной бабы. Сидит себе в конторке и наблюдает из оконца. Увидит какую помоложе, поманит пальцем:

— А ну подь сюда.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

— Тебя как зовут?

— Воронкина Зинаида.

Начальник задумается, повременит несколько, да где там, разве всех упомнишь.

— Зинаида, Зинаида... Ты у меня, кажется, на отметке не была, а?

— Да что вы, гражданин начальник, я только вчера прибыла.

— Тем более. Придешь ко мне после отбоя. Охране скажешь — я велел.

Их было у него в зоне более пятисот. Всех он, может, и не перепробовал, но старался. Мы его так и звали — «санпропускник».

Мне потом, на воле, подруга рассказывала — она большая книжница была — про одного римского императора. Ему каждый день после обеда новую приводили, из плленных рабынь. Я про римских императоров не читала, довольно-ко своим.

Вот к этому капитану и попала бедная Ирен, недоучившаяся школьница. Она все Матильду вспоминала, плакала. Капитан, как у него заведено было, использовал Ирен. Она родила, ребенка отобрали, а ее отправили с первым же этапом дальше.

У всех мамок детей отбирали, куда-то их девали. Я думаю, из них выращивали государственных охранников-пограничников или конвоиров.

Судьба Ирен могла постигнуть и мою младшую сестренку, Люду. Ее тоже забрали в семнадцать лет, когда мы жили в Белореченской. Она шла домой из булочной, несла в руках полторы буханки черного хлеба. Видят открытый вагон у самого перрона, внутри — мать с двумя малышами. У одного красные ножки, он замерзает, второй — у материнской груди. Старший просит: «Мама, хлеба!» Мать увидела школьницу с хлебом: «Девочка, девочка, дай хлеба, дети погибают...» Люда отдала полбуханки. Сзади возник мужчина.

— Фамилия?

— А вам зачем?

— Я тебя спрашиваю. Фамилия!

— Что я вам сделала?

Мужчина вытащил красную книжечку.

— Пройдем.

Он привел ее в отделение МГБ. На железной дороге тоже соблюдали государственную безопасность. Люди вели немедля принести паспорт. Она пришла домой в слезах:

— Папа, что со мной сейчас случилось...

— И в кого ты такая истеричка? Ничего тебе не сделают. Найди паспорт, иди объясни, как было дело, и тебя отпустят.

Она пошла и не вернулась. Люду обвинили в пособничестве врагу и дали десятку, отправили на Север. Пропала моя сестренка...

Володя Куламов

Матильда. Был у меня в мужской зоне, в поселке Байчегир, сынок, я так его и звала, я считала Володю сыном. Ему едва минуло шестнадцать, он очень страдал от голода. Увидел как-то щенка в зоне, заманил к себе в барак, удавил и спрятал тушку на нарах, под голову. Стукчи донесли, Володю выволокли раздетого на двор, привязали к столбу возле ворот. Мороз стоял 45°, в этот день на работу не выводили. Ко мне прибежали в медпункт и сообщили, что случилось. Я, как была, в одной майке, побежала к воротам. Володя уже ничего не чувствовал, висел на веревках, уронив голову... Его привязали к столбу стрелок. То был зверь, настоящий зверь, не человек. Фамилия палача — Полулях. Он увидел меня, кричит:

— Хвышман, я тебе ось...

Поднял винтовку, прицелился.

Я кинулась к бараку:

— Товарищи, выходи! Все выходи! Спасайте Володю!

Я готова была восстание поднять. Мужчины выбежали из барака, кинулись к воротам и... остановились.

— Товарищи, что же вы смотрите, пусть стреляет, всех не перестреляет.

Подбежала к Володе, за мной другие, развязала узлы, подхватила закоченевшее тело, взвалила на плечи — откуда силы взялись — и понесла в свою кабину, в санчасть. Начала оттирать его снегом. Сама была слабая, истощенная, позвала на помощь освобожденных от работы зеков, старых работяг. Они бегали за снегом, вместе оттирали. Я достала пузырек с заветными 50 граммами спирта, зажала мальчику нос пальцами, влила в рот. Только тогда Володя открыл глаза...

Я прыгала, я пела, плясала, вместе со мной радовались старики. Они принесли еще снега, в руках носили, у нас не было ни одной миски, даже банки, не было ничего.

Володя выжил, поправился. Весной, к моему дню рождения, он подарил рисунок: мальчик с девочкой преподносят мне цветы... Он был способным художником, Володя Куламов. Его потом куда-то этапировали, потерялся след сына. Может, он живет теперь в родном Грозном...

Я не хотела оставлять без последствий подлого поступка охранника и передала с одним вольным человеком жалобу в управление Карагандинского ИТЛ, в село Долинку. Я просила убрать Полуляха, наказать его. Но ему все сошло с рук. Наказали меня, убрали из медпункта мужской зоны. И вновь я попала на общие работы, на гибель.

Сын Ларисы

Лариса. Помню Володю Куламова, его Матильда спасла. Мой младший Леня тоже чудом остался жив. Нет, в лагерь он не попал, но досталось ему не меньше. Немцы в Белореченскую пришли на второй год войны. Лене было двенадцать лет, он голодал, искал банки из-под консервов на помойках, вылизывал. Немцы его схватили, дали поесть, но даром кормить не стали, а поставили пастухом, перего-

нять стада коров с Кубани — через Румынию в Германию.

Прошло много лет, я встретилась с Леней, узнаю — у него другая фамилия, Стакхурский. Посмотрела документы, он стал поляком, и год рождения вовсе не его. Когда их, подростков, погнали в лагерь, прошел слух, что русских будут убивать. Тут случай вышел, помер мальчик-поляк, который с Леней шел. Лена взял его документы, а свои выкинул. И стал Рышардом Стакхурским, сошел за поляка, жив остался. Потом он долго скитался по разным странам. Он у меня неизвестный язык знает, английский знает, французский, румынский и еще... «Леня, — спрашиваю, — откуда ты знаешь столько? Ведь шесть языков, я посчитала. Ты же в школе мало учился?».

— Мама, когда жрать захочешь, за месяц выучишь любой язык, хорошо выучишь... И гнали меня отовсюду, и били. Бывало, хлеба попросишь, а тебя бьют, бьют, только кровь согеняя во рту... Мама, ни одного ласкового слова я не услышала в те годы, ни один человек ни разу меня не пожалел.

Матильда. В конце войны и после падения Берлина в лагеря погнали миллионы русских солдат. Многие попали в немецкий плен еще в начале войны, жертвы сталинского военного гения. В нашем лагере они умирали тысячами — от голода, холода, от изнурительной работы. Сколько я закрыла глаза... Сколько их, умирая, просили: «Тетя Матильда, ты выживешь, выйдешь на волю. Сходи в церковь, поставь хоть за три копейки свечку Николе Угоднику».

...И я хожу по церквям, пока ноги носят, и зажигаю свечки. Молодые ребята остались в лагерной земле неоплаканные, без могил, без последнего материинского взгляда...

Иоганнес фон Бредо

Матильда. Это случилось в Медине, на овцеферме. На лагпункте я была лекарским помощником, лекаром. Саша и врач, и фельдшер, и медсестра, и санитарка в одном лице. В зоне содержали военнопленных. Одного офицера, бывшего капитана подводной лодки Иоганнеса фон Бредо, назначили чабаном. Когда он проходил мимо солдат, они вставали по стойке «смирно» и честь отдавали. Я спросила их:

— Что это вы ему честь отдаете, вы же не в Германии?

— Когда мы учились в школе, нам все учителя говорили: «Старайтесь быть таким, как он...»

Фон Бредо был знаменитым капитаном. Солдаты ему каждый день туфли чистили. Но вот блатные украли туфли, а уже зима пришла. Капитан стоял на тырле, на голой, выпотаптанной площадке, где овцы собирались на водопой. Он стоял босой, а рабочий день — так называлась эта каторга — тянулся с пяти утра до пяти вечера. Увидела я босого на тырле и отдала свои старые валенки (новые водились только у блатных и приదурков, то есть, у начальников из зеков). Уж как он меня благодарил...

Я доставала ячмень у пастуха, что пас волов, варила. Кашу готовила на горькой, солончаковой воде, ею люди травились. Но другой не было, кругом одни солончаки. Ложка каши на такой воде — это жизнь. Капитан ел горячую каши и плакал.

Суждено было Иоганнесу фон Бредо выжить. Года два промучили военнопленных немцев, многие погибли, оставшихся вызвали в Долинку, в Управление. Все решили — на казнь везут. Но вот вернулись возчики и рассказали, что немцев одели в чистые телогрейки, выдали новые брюки, чистые матрасы и посадили в поезд. Капитан просил передать мне, что их отправили домой.

Комбриг Выставкин

Лариса. Командир бригады Выставкин попал к нам в Просторное во время войны. В каком лагере он до этого был, не помню. Его забрали в тридцать седьмом. Он жил в Москве, близко знал Тухачевского, и когда маршала объявили врагом народа и шпионом, стал готовиться к аресту. «Я не был женат, жил с матерью. Сам собрал вещи, уложил в чемодан — смену белья, мыло, зубную щетку. Пришли за мной поздно ночью. Мать, увидев гостей, пошла на кухню сварить кофе.

— Мама, не суетись, — говорю ей. Она ничего не понимает, меня уже повели к выходу, а она все еще ничего не понимает... Когда я ей сказал, что меня арестовали, она упала замертво. Кинулся к ней, нет, хотел кинуться, — агенты схватили, крепко держат. Не дали проститься».

— Сталки не знает, что творится, он бы не допустил, — сказала я.

Выставкин прикрикнул на меня:

— Да ты не стукача ли? Или притворяешься?! Я и Матильда то же самое говорила. Не скоро дурман выветрился.

Профессор Киш

Матильда. На воле профессор Киш преподавал анатомию в Саратовском медицинском институте. Однажды нам с ним выпало задание — возить кизяк для ВОХРы. Кизяк — это высушенный овечий навоз, ВОХРа — военизированная охрана, наши добровольные палачи. Ну а наблюдать за нами поставили уголовника Федяку и проститутку Шурку. Это уже другой сорт палачей, внутри зоны. У них есть плетки — погонять быков, у них есть суровые бинты для перевязывания бычьих ног. И доски на санях, иначе как же его возить, кизяк? И широкие рогожины подстелены. Они с удобствами едут на своих досках, а мы — хоть пешком по глубокому снегу иди... Но пристроилась я на палке, а профессор сел сбоку, еле держится и приговаривает: «Я не могу больше страдать. Лучше умереть». Едем, едем, у профессора идет кровь, вместе с мочой льется. Я кричу:

— Федя, Федя, постой!

Он оглянулся:

— Какого х... тебе надо? — И не остановился.

Смотрю, далеко-далеко вешка стоит. Я молодая еще была, всего тридцать шесть лет, я побежала, вытащила вешку из мерзлой земли. Теперь у нас на двоих будет одна палка, быков подстегивать. А без палки, без кнута быки не шли. Стоит бык на месте, хоть искришься вся. Федя знал, как с ними обращаться. Как крикнет: «Цоб! Е... твою мать!» — бык трогается. Случалось, бык заупрямится, ляжет, тогда Федя-блатьярь возьмет хвост в руку, рванет, бык мигом поднимается... Это все я подсмотрела.

Едем. Снег глубокий лежит. По одну сторону дороги — волчья свадьба, по другую сторону — другая волчья свадьба. Мы по колеям едем, волкам до нас и дела нет. Они, наверно, сыты были. Может, вместе с воронами человечинкой полакомились. Профессор смотрит на них в ужасе: «Я боюсь, они нас сейчас сожрут». И плачет. Он плачет, слезы стекают по усам, замерзают на щеках. Тут у профессора бык встал. Он слез с жердочки, подошел к быку и что-то будто сказал ему на ухо. Мне стало смешно, я остановила своего быка, подошла к профессору. Он попросил: «Будьте так любезны, закройте свои уши». Я сделала вид, будто уши закрыла, а сама слушаю. Профессор робко, неумело говорит быку: «Е... твою мать! Ты будешь меня слушать?» Бык не понял. Тогда я подошла: «Пожалуйста, оставьте». Отвела профессора в сторону.

ку, к своим саням, подняла палку, как крикну: «Цоб е... твою матер!» Пошли наши быки, как миленькие пошли...

Наконец прибыли на место, где лежали штабелями квадратные плиты кизяка. Как же его грузить? У нас всего две палки. Федя приказал Кишу: «Ну-ка, открои рот». Увидев во рту золотые коронки, сказал уверенно: «Вот эти два зуба я возьму, а ее на ночь оставлю».

Грязный, гнусный урка... Я похододела. Профессор вновь открыл рот, показал Феде другую сторону: «У меня есть еще один зуб. Возьмите его, только ее не надо трогать. У нее дети».

Он ничего обо мне не знал, профессор Киш.

Блатной взял инструмент, другой рукой обхватил голову и вырвал одну за другой три золотые коронки. Чем он орудовал? Это были не клещи и даже не плоскогубцы, а ключ гаечный. Он прихватил нижнюю губу, порвал рот моему спасителю. Нижняя челюсть у него повисла. Я запла-кала.

— Профессор, родненский, я не могу, я...

— Нет, надо быть гордым. Это не человек. Это свинья проклятая... Нет, лучше я погибну.

За три золотые коронки наш благодетель Федя выдал нам две большие рогожины, мы погрузили кизяк и двинулись в обратный путь. На наше несчастье, поднялась сильная метель. Меня давно научили — если попадешь в метель, освободи вола от уздечки, возьми за хвост, намотай покрепче на руку и дерни, да не забудь заветные слова. Бык сам приведет тебя к скирде сена или к жилью. Я так и сделала.

...Профессор ехал уже лежа, совсем замерз. А я шла, шла, ногами переступала, сколько могла. Наконец, мой бык привез нас к жилью, там была скирда сена с жердью сверху, бык подцепил ее рогами. Я закричала: «Спасите, спасите!» Мы очутились около кухни, крики услышал истопник. Появились люди, нас стали оттирать снегом.

Профессора спасти не удалось. Он заболел двусторонним воспалением легких, долго лежал в бараке, а когда его забрали в санчасть, было уже поздно.

Его звали Гарри Готфридович Киш.

На воле

Лариса. Я вышла на волю раньше Тили, но мы сговорились уехать отсюда вместе. Потом она сказала, что сразу ехать в Россию нельзя: кто нас примет, кому мы нужны? И верно, в родной Белореченке у меня никого не осталось. Я писала соседям по дому много раз, никто не ответил, лишь перед самым освобождением получила письмо. Родители померли — мама раньше отца, нашу квартиру занял военный с семьей, сын не об явился, сестра сгинула в лагерях.

Ну, освободилась я, поехала в Долинку, взяли меня судомойкой в вольную столовую. Думала, дождусь здесь подруги, а там решим, куда податься. С полгода проработала в столовой, отвела, стала на женщину похожа, умудрилась платье купить, обувку вольную. Тут и Тила заявляется. Выдали ей справку об освобождении из лагеря, но паспорта не дают. Мне дали, ей нет. С немцами со всеми так. Тила надумала податься в Джамбул, там знакомые обещали в больницу взять на работу. А мне так захотелось домой, до слез захотелось. И дома нет, и родных никого, а вот захотелось хоть глазом одним взглянуть. Подругу ждать — может, ее никогда не отпустят, их всех на высылку отправляли. Бог даст, свидимся...

Расцеловались мы с Тилей, поплакали вместе, и она проводила меня до автобуса на Караганду. Туда немцев тоже не пускали.

Хотела сначала в Краснодар податься, все же город южный, сырный, но испугалась: в большом городе больше охранников, опять заметут. Посоветовала мне одна бывшая женщина обосноваться в Майкопе. Городок тихий и Белореченская рядом. Я ведь о родных думала, вдруг обзываются. В Майкопе устроилась в рабочую столовую, заведующая хорошая попала, но посмотрела паспорт — откуда я приехала, — велела прописаться сначала. И началось... В милиции сказали, что город режимный, столица Адыгейской автономной области, и таким, как я, здесь делать нечего. А то вышлют туда, откуда приехала. А на работу без прописки не берут.

Пошла я искать хозяина с авторитетом, который имел бы блат в милиции. Не нашла такого. Это как в лагере, пока не обжившись, тебя топчут. На время поселилась у одной старушки, она меня за дешево пустила, только прописать не захотела, боялась этой прописки, как черт ладана. Хотела устроиться уборщицей в швейную мастерскую, согласна была на любую работу, но и там без прописки не взяли. Вот на какие качели вольные попала. Заведующая мастерской посоветовала обратиться в редакцию газеты «Адыгейская правда». Спасибо за совет, только эта самая «Правда» не про нас. Попала я опять в милицию, попала к другому начальнику, к замполиту. Это по-русски означает заместитель по политической части. Сидит за большим столом, развалился, еле в кресле умещается, точно наш лагерный начальник, сидит, щупает меня наглыми глазами, — ну, настоящий замполит.

— Нет, Савельева, прописать мы тебя не можем, у тебя в паспорте пункт 39 Положения о паспортизации, значит, в большом городе тебе не место.

— Как же мне быть?

— Ты не расстраивайся. Мы тебе поможем. Пойдешь работать в нашу столовую.

Начальник поднялся, по имени назвал, по спине погладил.

— Но предупреждаю: веди себя прилично, никому воли не давай. О прописке не беспокойся.

И началась моя новая вольная жизнь. Этот замполит, в возрасте уже, оказался таким развратником, что и лагерным уркам не снислось. Целый год отработала я в ихней столовке, надо было прописку закрепить. Наведывалась к себе, в Белореченскую, узнала, будто в Харькове обявился двоюродный брат. Мы с ним не виделись с детства, теперь у него уже двое детей, живет в своем доме. Поехала к брату. Дом оказался домиком на окраине, но я осталась там, занялась хозяйством, детьми. Брат с женой рады, а настоящего чувства нет. Он партийный, она в школе преподает историю. Им не понять нас, лагерников.

Я хоть по дому все делала — и готовила, и стирала, и ремонт сама, — спасибо, в лагере обучили, а все же хотелось и денег заработать. Пенсию мне определили в тридцать рублей, это один раз на базар сходить с корзиной. Нанялась к одному генералу семью обшивать. Он платил хорошо, поначалу был такой обходительный, потом начал тоже безобразничать. Устроилась в столовую офицанткой — там еще хлеще.

...В Белореченской тюрьме, в тридцать восьмом году, начальник однажды вызвал к себе, напоил спиртом и повалил на диван. С того раза и пошло. Как только ни измывались надо мной начальники и все — партийные. Тот, тюремный, добрый был, давал поесть, в чистую камеру поместил, с кроватью, с одеялом. Он меня долго не отправлял на этап, жалел. От других куска хлеба не дождалась. И лютовали они жестоко. Женщина для них, что пыль дорожная. На волю вышла, один черт! Каждый норовит у тебя отнять что-нибудь. А что можно взять у бедной женщины? Сидят жирные коты в своих хоромах, твоя нужда, твоя беда им до фени.

Одна Матильда меня понимала, да где она, моя подружка Тила? Тут подошел съезд партии, давно они не собира-

шись, Сталин что-то мудрил. На этом съезде выступил Хрущев. Газет я не читала, ни к чему они мне. И на этот раз схитрили ~~вожди~~, не напечатали речи Никиты Сергеевича. Дома брат с женой чего-то шепчутся, таятся от меня. Днем, когда они на работе были, я нашла в шкафу документ — закрытое письмо партийное. Вообще неувязка получается: «Партия и народ едины!», а правду от народа прячут. Прочитала я про ~~Сталина~~ — вот когда у меня глаза открылись, вот кто наш главный ~~мучитель~~. А я на него молилась, всю жизнь молилась, думала, это начальники на местах перегибают. Он же, Отец родной, ни о чем таком не ведает. Прочитала письмо — и молчок, брату ни слова. Он потом сам заговорил, дескать, скоро невинно осужденным будут новые документы выдавать, может, и пенсии назначат человеческие и жилье дадут. И называется все это реабилитация. Он говорит, а я не верю. Не верю, и все. Начнут ворошить старое, поднимать дела, глядяши, слова упрятут туда, куда Макар телят не гонял. Если б они нас вправду жалели, почему после смерти Сталина не выпустили? Они амнистию ворюгам дали, спекулянтам да хулиганам, а нас подыхать оставили за проволокой. Нет, новой власти тоже не нужны. Лучше я уж из Харькова уеду куда-нибудь подальше на Север, сама уеду, без конвоя.

Брат не хотел меня отпускать. Подавай, говорит, заявление о реабилитации. А зачем она мне, реабилитация? Что мне из нее, щи хлебать? Мое дело поступило к ним и будет принято решение. Это брат подал заявление вместо меня, и все сделалось. Вызвали еще раз и выдали справку: «Ваше дело пересмотрено и за отсутствием состава преступления производством прекращено». Значит, не было преступления, было дьявольское производство. Столько-то миллионов загублено, столько-то осталось калеками, столько-то — сиротами. Сколько, никто не знает.

Я спросила, как насчет средств к существованию, как получить жилье. Ответили: деньги, двухмесячный оклад можете получить по старому месту жительства, а квартирами мы распоряжаемся.

Умылась я этими словами и пошла домой.

Матильда. Проводила Ларису и будто осиротела. После лагеря меня оставили навечно в далеком Казахстане, в городе (все же в городе) Джамбуле, без права выезда, на спецпоселении. Я продолжала писать в Москву заявления. В 1956 году получила наконец-то ответ из Верховного Суда СССР: мое дело пересмотрено Военной коллегией и прекращено за отсутствием состава преступления. С этой справкой я поспешила в комендатуру. Дежурный офицер, казах, забрал мою справку, обругал матом. «Убирайся вон!»

Я заплакала. Комендант ударил меня по лицу. И еще раз. Нос сломал. Я закричала, в кабинет вошел другой комендант, старший.

— Отдай женщине документ, — приказал он. Старший офицер взял от меня расписку, я запомнила текст: «Даю настоящую расписку в том, что мне объявлено об освобождении из спецпоселения без права возвращения на место, где ранее проживала. Мне также разъяснено, что строения и другое имущество, конфискованное у меня при аресте, возвращению или возмещению не подлежит. ...мая 1956 г.»

Помню фамилию доброго начальника — Виноградов. По его записке мне в милиции выдали паспорт. В Москву я ~~ехала~~ не сразу, хотелось на месте подработать немножко, одеться прилично, только из этой затеи ничего не вышло.

...В двадцатом году была у меня в Харькове подруга, Надя Галембовская. Я работала в губернской ЧК, Надя жила у меня. К ней я и пришла в мае пятьдесят седьмого, приехав в Москву. Она теперь работала в Министерстве тяжелой промышленности, а жила на улице Богдана Хмельницкого. Я нажала на кнопку звонка, Надя приоткрыла

дверь, увидела меня и сказала: «Матильда, я тебя принять не могу».

Пошла я на Курский вокзал, на самый пятачок, улеглась на скамье. Тут же появился милиционер.

— Что, пришла подработать?

Я заплакала.

— Давай документы. Ну вот, с такими документами, а валяешься на скамейке...

— Куда же мне идти?

— В гостиницу.

— У меня нет денег.

— Это не моя забота. Чтоб я тебя больше здесь не видел.

Отправилась я на проспект Мира и по переулку вышла на какой-то сквер. Этот сквер оказался кладбищем. Там, на Пятницком кладбище, за маленькой церковью, на мраморной могильной плите я провела свою первую ночь в любимой столице после выхода на волю. Какое же это счастье, вытянуться во весь рост и спать, положив под голову камень. В лагере подушкой мне служили два кирпича, вот и сгодилась привычка.

Утром пошла в Красногвардейский район — там я состояла на партийном учете перед арестом. Принял первый секретарь.

— Где же ты раньше была? Вот если бы ты пришла сразу, в пятьдесят пятом году, когда тебя освободили, мы бы тебя и в партии восстановили и квартиру дали бы.

— Меня же оставили на спецпоселение, я отмечалась два раза в день в комендатуре, утром в семь часов и вечером в семь. Подпиську с меня взяли: в случае неявки на отметку мне дадут двадцать пять лет каторги.

— Товарищ Фишман, — секретарь перешел на официальный тон, — я вам сказал все. Вы свободны.

И осталась я свободной от всего: ни партбилета, ни квартиры, ни работы, ни денег. На кладбище жить нельзя было. Меня засек сторож и позвал милиционера.

— Чтоб твоего духу тут не было! А то посажу! — предупредил он.

Я ушла, а как только стемнело, вернулась, набила сторожу морду (чему-то меня лагерь научил) и покинула это место. Добралась на трамвае № 5 до улицы Максима Горького, того самого, который провозгласил: «Человек — это звучит гордо». Вагоновожатой я сказала, что прибыла из лагеря, денег нет.

— Ну, а если контролер нагрянет?

— У меня все равно, кроме телогрейки, ничего нет.

Наш разговор слышала одна старушка, она посоветовала мне пойти на Ваганьевское кладбище и собирать там бутылки. Их принимают в специальных пунктах. Я пересела на другой трамвай, добралась до Ваганьевского кладбища. Решила устроить логово подальше от входа, близ железнодорожного моста. Там можно было подлезать под проволочную ограду. Приметила бездомную рыжую собаку, грязную, худющую. Значит, не одна буду здесь жить. В первый же день собрала пустые бутылки (поминки народ отмечал водочкой), сдала в приемный пункт, купила булок французских. Теперь их переименовали в «городские». Взяла колбасы, поделилась с собакой. Она вскоре привыкла ко мне, спали вместе, согревались. Зароюсь носом в собачью шерсть, тепло, уютно... Но сон был тревожный, от всякого шороха просыпалась, — не идет ли кто? Ворона перелетела с дерева на дерево, сучки падают, я вздрогиваю. Утром сбрасываю с лица сучки, смотрю в небо: который час?

Первая покупка — сумка для бутылок. Легче стало носить, но настали холода. Вот и праздник нашей революции, 7 Ноября. Я уже жила культурно, покупала себе «Вечернюю Москву». В этой газете прочитала некролог: «Скончалась Надежда Галембовская, старая коммунистка. Панихи-

да состоится в клубе имени Стопани». Решила пойти в клуб, не постеснялась. Надо же было случиться такому, в клубе меня увидел соратник по гражданской войне в Крыму, Иван Дмитриевич Папанин. Теперь он знаменит, депутат Верховного Совета, Герой Советского Союза, одних орденов Ленина шесть; если не больше.

— Мотылек, ты ли это? И что за вид? Где ты живешь?

— На кладбище.

— Как это? Брось шутить. Я все знаю, но тебя должны были реабилитировать...

Я рассказала о своих злоключениях.

— Ты знаешь, где находится моя «контора»? Завтра же утром приезжай ко мне.

...Пропуск на мое имя уже был заказан. Папанин познакомил меня со своими сотрудниками, секретарь привнесла из буфета чай с бутербродами, а я, беззубая, не могу есть. Иван Дмитриевич повез меня на своей машине в райком, к тому же секретарю. Встретили его с превеликим почтением, в приемной задержали всего минуту. Он вошел в кабинет, я чуть замешкалась. Первый секретарь, увидев меня, рявкнул:

— А ты куда?

Я попятилась, но академик взял секретаря в оборот:

— Ты на кого кричишь? Ты на кого кричишь ... твою мать! Или тебе надоело здесь работать? — Обложил его крепко, потом рассказал секретарю обо мне, о нашей семье.

— Дай-ка мне список на получение жилплощади.

— У меня список на квартиры в-о-о-т такой. — Секретарь развел широко руки.

Принесли список. Папанин вычеркнул первую сверху фамилию и вписал мою.

— Это же генерал, — заметил секретарь райкома.

— Ну и что? А она адмирал. Квартиру дашь ей немедленно!

На этом и расстались. Но комнату я получила только через семь месяцев.

При райкоме функционировала комиссия старых большевиков. Ее председатель, Яков Менкис, сказал мне:

— Молись, что тебя в Москву пустили.

— Кому молиться, почему молиться? Мне теперь квартиру дадут.

Послесловие автора

Судьба женщины в сталинских лагерях смерти, разве она не описана в книге Евгении Гинзбург, в десятках, сотнях книг? Но недремлющие слуги Великого Друга женщин поставили на этой литературе печать запрета.

...Лето 1944 года. Центральный пересыльный пункт Печорского лагеря. Заключенный Василий Задорожный полюбил юную Марину (ее фамилия не запомнилась), тоже заключенную. Задорожный, высокий, статный украинец, офицер-фронтовик, работал помощником начальника ЦПП по труду. Эта должность, самая важная в зоне, позволяла ему спасать Марину от этапов. Некоторое время они могли быть вместе.

Меня пока, до этапа, назначили на работу при клубе, на пересылке можно было еще как-то существовать. Марина работала медсестрой в арестантском лазарете. На фронт она попросилась на второй день войны, из десятого класса. Там стала медсестрой. Ее заприметил уполномоченный СМЕРШ, распорядитель по части жизни и смерти во вверенной ему воинской части. Но именно этого красавца Марина уразуметь не могла. Уполномоченный устроил ей десять лет за «распространение ложных слухов». Тогда, да и не только тогда, правдивая информация отсутствовала, ее заменяли слухи, а за слухи можно было засадить любого.

— ... (он произнес необходимое слово) — ты ее получишь!

Поселилась я на Ленинградском проспекте в общей квартире; в комнате площадью девять квадратных метров — ни одного метра сверх московской нормы. Началась новая жизнь, надо было познавать ее законы. Присмотрелась и поняла, что есть возможность обменивать свою жилплощадь, с доплатой, в обход законов. Пенсию мне назначили мизерную, 60 рублей — за мужа. У меня никогда не было мужа, предстояли новые хлопоты. Написала в Комиссию по установлению персональных пенсий при Совете Министров, только не о себе, о брате. Ему тоже назначили пенсию в 60 рублей. Прибавили брату, заодно — мне. Дали 120 как члену партии с 1920 года.

Чтобы скопить денег для обмена, отказывала себе в еде, овсяной кашей питалась. В те годы квадратный метр жилплощади стоил на черном рынке 120 рублей. После трех обменов я въехала в комнату размером 18 метров. Но важнее этого дела, важнее всего я считала розыск мамы. Я узнала, что ее сослали в Омскую область.

Когда меня арестовали и привезли домой для обыска, мама крикнула агентам НКВД: «Моих сыновей расстреляли в Крыму, это сделала белогвардейская банды. Теперь схватили дочь. Какая банды ее забирает?»

Начался обыск. Мама спросила: «Матильдочка, а если меня возьмут?»

— Тебя не возьмут. А если все же возьмут, я тебя разыщу.

...В селе Горьковском Омской области мне рассказали о старой обезумевшей женщине с размытыми горем глазами. Она ходила по селам, стучала в окна и спрашивала: «Скажите, люди добрые, моя доченька не приехала?»

Я пришла слишком поздно. Мама замерзла, голода, больная, под чужим окном. Я пришла на деревенское кладбище, где, как мне сказали, ее похоронили. Никто не мог указать мне место, я ходила от одной безымянной могилы к другой и выла...

«Мама, я пришла слишком поздно, я пришла поздно, я не могла раньше, я была в заключении, ты слышишь меня, мама?...»

Марина полюбила Васю с силой отчаяния и была счастлива. Но арестантские радости скоротечны. То ли пом. по труду забыл дать начальнику очередную взятку, то ли кум на него взялся — так или иначе Василия самого назначили на этап. Уж лучше бы на месте казнили. Для приурока (должностного лица из зеков) этап часто означал верную гибель. Блатные же не упустят случай посчитаться с пом. по труду, с комендантом или с нормировщиком.

Я видел, как Василия уводили за зону, ему даже не дали проститься с Мариной. Ее заперли в карцер, раздев почти донага. Но Марина сумела распорядиться своей жизнью по-

своему. Она возвесилась на резинке от труса. **Как ей удалось** привязать резинку к решетке на дверью и засунуть голову в металю? Но она это сделала.

Я видел женские этапы. Я был на женских колоннах. Помню зону в Красном Куте, под городом Печорой (тогда это был маленький поселок), где содержали младенцев, отнятых у матери. **Содержали?** Нет — уничтожали. А те немногие, что выжили, никогда не произнесут слова «мама».

На пересылку прибывает женский этап. После нудной, изнурительной проверки новеньких ведут в башню. Там уже поджидают жадная орава блатных и придурков. Все молодые, красивые достаются им на растерзание. Вольные начальники тоже не брезгуют скакантикой, им поставляют отборных. **Многие** женщины выходят из бани в лагерном тряпье, чуть прикрыв наготу чешкою. Одежду надо сдавать в прожарку, то есть в дезинфекцию, если по-вольному. Приличные платья, белье, пальто — все исчезает. «На сменку» блатари дают ограбленным грязную разчину.

Но самое худшее впереди. В лагере самое худшее всегда впереди. Через неделю-другую формируется этап на производственную колонну. Как откупиться, чем? Позади следственные тюрьмы, пытки, голод, многодневный этап. Теперь вот — колонна, катящие работы на лесоповале, в котлованах, в каменных карьерах, на строительстве дороги. И трехъярусные нары в сырьих бараках, дикий произвол охраны, жестокие игры блатных девок. И **вечно** серое заполярное небо, серые бушлаты, серая баланда. И неотступные мысли о детях, оставленных на земле, о стариках...

Сколько их не вернулось с Петровки и с Воркуты, с Колымы, с Новой Земли? Сколько погибло на Волге, на Дене, на Сыр-Дарье? Пять миллионов, десять, пятнадцать?..

Среди них были «указницы», осужденные по новому Указу за прогул на производстве, они прибывали на пересылки тысячами. Еще больше попадало за мелкие хищения. Им давали — щедро, равномерно — по пять лет за початок кукурузы, принесенный с поля голодным детям, за горсть муки. В жестрительные лагеря шли и шли зарешеченные эшелоны с женами и дочерьми «врагов народа». С ними вместе — активные коммунисты, такие, как Матильда.

В отряде ее любовно называли Мотыльком. Она таскала на себе тяжеленный пулемет «Максим»: стреляла по врагам советской власти, потом служила в органах ВЧК —

ОГПУ. В Абхазском управлении, в этом маломощном филиале Лубянки, стремились во всем подражать центру, завели даже особый оперативный архив. Преданный Матильде сослуживец, с риском для жизни, достал со стеллажа под грифом «ф» папку, наполненную доносами. Доносы на Матильду Фишман написали коллеги-чекисты.

Уже тогда, в двадцатые годы, внутренние доносы стали обыденным явлением. Вся деятельность органов, вся жизнь так называемых чекистов была густо замешана на зависти, злобе, жестокости. И если к началу тридцатых некоторые старые чекисты еще сохранили крупицы человечности, генсек постарался их убрать. Для задуманной им генеральной резни такие люди не годились.

А Матильда, что могло поколебать ее фанатичную преданность власти и партии? Сколько нетленного патриотизма в этой истерзанной, заживо расплитой женщине. Его хватило бы на целую армию сталинских охранников, берииевских головорезов.

Сын Матильды, Антон, мог ведь стать не летчиком, а работником органов. По примеру матери. И тогда бы он пытал-убивал честных граждан, ни в чем не повинных сограждан своих. Таким он вышел из-под пресса сталинской системы воспитания.

О московских тюрьмах — внутренней (на Лубянке), Лефортовской, Бутырской — написано много. Пусть правдивое свидетельство Фишман ляжет на весы Истории, подобно сообщениям о гибели в Лефортове пятидесяти двух командиров корпусов, или революционера Осипа Пятницкого, или несметного числа других жертв.

Мне довелось опубликовать некоторые данные о сталинском терроре в период 1935—1941: арестовано за пятилетие 19 840 000 человек, из них уничтожено в тюрьмах семь миллионов. Остальных добивали в лагерях. Массовые казни в тюрьмах совершались до вынесения судебных приговоров, после вынесения и без суда.

В восемнадцатом году семью Леонарда Фишмана навещал в Ялте старый политкаторжанин Михаил Дерябин, недавно освободившийся из Орловского централа. Он отсидел десять лет за участие в убийстве в Севастополе, в 1906 году, вице-адмирала Чухнина. Дерябин вышел на волю здоровым, откомленным, полным сил — таким он запомнился Матильде. Попав потом в сталинские тюрьмы, она могла поразмышлять о царском произволе. И ссылку царскую было с чем сравнить. Продуманно и душевно опекаемая лично генсеком лагерная система, во всем, до малых деталей, повторяла

сработанное им государство. Две привилегированные касты, охранники и блатные — две категории уголовников, опора запроволочной империи. Та же иерархия, покоящаяся на страхе и голоде, те же бандитские нравы — пытки, убийства, провокации, доносы.

В Зоне Малой, как в Зоне Большой.

У Матильды сложилось свое мнение о покорителях казахстанских целинных земель. Ей запомнились немцы. А мы назовем еще вечно ссылаемых-переселяемых тружеников-корейцев да бывших лагерников — сотни тысяч их осталось по окончании срока на месте, в Северном Казахстане. Возращение в Россию не сулило им ничего, кроме нового срока. Да не забыть русских эмигрантов, вернее их детей, выросших на чужбине, в Китае. В 1955 году Никита Хрущев вывез их на родину отцов, сколько тысяч — нам неизвестно. Репатриантов грабили на границе, на станциях, в дороге на Север. Как грабили — пусть расскажут очевидцы. Все это было бесчеловечно, в лучших традициях так и не изжитой сталинщины.

Вот кто поднимал целину. Комсомольцы прибудут в Казахстан потом. Их нарекут героями. Немцев же, тех, что трудились на казахстанской пашне много лет, назовут фашистами.

В военные годы я встречал в Воркуте, в Заполярье, немцев, высланных с родного Поволжья. Их тоже называли фашистами. Русских, украинцев, грузин, узбеков, всех не перечесть, клеймили «врагами народа». Государственный аппарат дезинформации и клеветы действовал в Малой Зоне с тем же размахом, что в Зоне Большой. Это нетрудно уразуметь. Но почему Матильда, заслуженная коммунистка, выросшая в семье революционера, оказалась вместе с «фашистами»?

Дикая эпоха. Перевернутый мир.

В тюрьме бывшая чекистка Матильда Фишман начала прозревать. Судьба чешки Кети Раб, профессора Гарри Киша, русского Володи Куламова, немецкого капитана фон Бредо стала ее судьбой. Под конец жизни она решила выполнить свой долг перед замученными.

...Дочери Августа Лютенса (живы ли они?) пусть прочтут эту повесть, пусть узнают о гибели матери в казахстанском лагере. Казнь их, отца, соратника Тельмана, в гитлеровской Германии и гибель матери-коммунистки в сталинской России — это стало уже частицей всемирной истории.

Прошли десятилетия, многое изменилось в мире. Подросло новое

поколение борцов. И новое поколение палачей. Вновь тащили на дыбу честных людей — за правдивое слово.

Книгу, в которой рассказано о последних днях Августа Лютгена, назвали «Воспрянет род людской».

Воспрянет ли?

Реабилитация. Я знаю, что это такое. Тебя никто не ищет, государству ты обуза; надо просматривать дело, обеспечить жильем, работой, пенсней, если стал инвалидом. Ты пишешь, ходишь по инстанциям, ждешь. И снова ходишь. Все делается втайне, никто не объявляет о восстановлении твоего честного имени, никто не огласит имен доносчиков, провокаторов, палачей. Ты требуешь наказания для них? Зачем смешишь облеченные особым доверием товарищей, ты же видишь, им некогда — сколько миллионов предстоит реабилитировать, сколько миллионов...

Ларисе эта реабилитация была ни к чему, она ее боялась. Она вышла на волю, но страх остался. И — недоверие к властям. Другое дело Матильда. Ей нужен был партбилет — для самоутверждения. И как пропуск в сытую жизнь. Партистаж с 1920 года давал многое.

Кстати, о партстаже Лазаря Кагановича. В его биографии немало темных пятен, сомнительных данных.

Делая карьеру при генсеке, этот сталинский подручный не брезговал ничем. Не исключено, что Лазарь примкнул к большевикам в семнадцатом году, после захвата власти, но стаж с 1911 года — явная приписка. Утверждая, что Каганович вступил в партию в двадцатом, Матильда могла ошибиться. Вероятно, Леонард Фишман вручал Кагановичу в Мелитополе новый членский билет при обмене партийных документов.

Вообще же манипуляции с датой вступления в большевистскую партию стали для многих карьеристов средством приобретения солидного партстажа. Некоторым категориям политических деятелей, таким, как анархисты-максималисты или межрайонцы, партстаж начисляли задолго до вступления в большевистскую партию. Генсек и его подручный Емельян Ярославский, председатель Общества старых большевиков, часто сокращали и удлиняли стаж партийцам произвольно: по принципу «мил — не мил».

Матильда умерла в восемьдесят пятом, она тяжело болела: бруцеллез, сердце, пробитое штыком легкое... Мы похоронили ее — гроб несли вчетвером, три студента и я — на дальнем кладбище, под скучным февральским солнцем. Стандартные могильные квадраты, очерченные одинаковыми бе-

тонными бордюрами. Стандартные квадратные участки, уходящие к горизонту. Найдет ли там успокоение ее мятежный дух? Судьба была к ней несправедлива до самого конца, лишив радостей обновленной жизни.

Лариса скончалась вслед за ней, через два года, так и не дождавшись своей «жилиплощади». После нее не осталось ничего, даже фотографий. Сохранился ее бесхитростный рассказ — пусть он послужит бедной женщине надгробием.

Матильда и Лариса назвали своих палачей — тюремных и лагерных (не всех, всех не упомнишь). Сталинисты до сих пор держат их имена в тайне. Палачам обеспечена приятная, подкрепленная солидной пенсией жизнь в просторных хоромах, на богатых вилах под Москвой и Ленинградом, на Кавказе, в Крыму.

В лагерной зоне юные арестанты просили тетю Матильду поставить в церкви свечку Николе Угоднику. Чего стоит сталинская барабанная пропаганда перед лицом смерти, когда обнажается суть человека. Ему надоело работать на Вождя. И умирать за Него надоело.

Человек хочет жить просто и вольно.